

Глава 9. «Подпольный» человек Ф.М. Достоевского.

Жизнь и творения одного из великих русских писателей XIX столетия **Федора Михайловича Достоевского¹ (11 ноября 1821 – 27 января 1881)** могут служить иллюстративным фрагментом той общей картины назревающей социальной и мировоззренческой катастрофы, к которой Россия шла давно и которая разразилась в период с 1905 по 1917 годы. Остро ощущая эту общественную тенденцию, вернее ту ее часть, которая исходила от отечественной интеллигенции и продуцировалась ею, Достоевский, наряду с прочим, откликался на нее и тем, что во многих художественных типах отражал все то духовно ущербное, что было в человеке.

Вместе с тем, писатель шел дальше: не только угадывал сокрытое в подсознании низменное и ущербное, но иногда и моделировал его. В этом случае его произведения, подобно реальным явлениям, становились креативной частью действительности, выходили за рамки литературной жизни. Нарушая законы материального бытия, его герои проделывали обратный путь: сходили с книжных страниц и обретали телесную жизнь в реальных человеческих личностях. Этому в существенной степени способствовал разработанный Достоевским и выявленный в его творчестве М.М. Бахтиным принцип «множественности самостоятельных и неслиянных голосов и сознаний, подлинная полифония полноценных голосов»², благодаря которому представленное в его романной прозе мировоззрение перестало быть монологичным, авторским. У Достоевского, отмечал Бахтин, «слово героя о себе самом и о мире так же полновесно, как обычное авторское слово; оно не подчинено объектному образу героя, как одна из его характеристик, но и не служит рупором авторского голоса. ...Оно звучит как

¹ В главе будут рассмотрены первые значительные произведения Ф.М. – «Записки из мертвого дома» (1860), «Униженные и оскорбленные» (1862), «Записки из подполья» (1864), «Крокодил» (1865), «Игрок» (1866), «Преступление и наказание» (1866), «Идиот» (1869).

² Бахтин М.М. «Проблемы творчества Достоевского». См.: Собрание сочинений. М., Русские словари, 2000, т. 2, с. 12.

бы рядом с авторским словом и особым образом сочетается с ним и с полноценными голосами других героев.

...Мысль, вовлеченная в событие, становится сама событийной и приобретает тот особый характер «идеи-чувства», «идеи-силы», который создает неповторимое своеобразие «идеи» в творческом мире Достоевского»³.

«Неповторимое своеобразие «идеи» определяется тем, что в отличие, например, от Гоголя или Толстого, у Достоевского весь мир, вся действительность становятся «самосознанием героя». «...Герой интересуется Достоевского как особая точка зрения на мир и на себя самого, как смысловая и оценивающая позиция человека по отношению к себе самому и по отношению к окружающей действительности. Достоевскому важно не то, чем его герой является в мире, а то, чем является для героя мир и чем является он сам для себя самого. ...То, что должно быть раскрыто и охарактеризовано, является ...последним итогом его сознания и самосознания, в конце концов - последним словом героя о себе самом и о своем мире»⁴.

И еще одну особенность романов Достоевского отмечает Бахтин. Это не встроенное в течение времени (временное), а пространственное видение и изображение романских героев. «Основной категорией художественного видения Достоевского было не становление, а сосуществование и взаимодействие. Он видел и мылил свой мир по преимуществу в пространстве, а не во времени»⁵. Когда же Достоевскому требовалось показать развитие, становление своего героя, то есть, когда ему нужно было прибегнуть к категории времени, то он, согласно Бахтину, дает героям их двойников: Раскольникову – Свидригайлова, Ивану Карамазову – чорта и Смердякова. «Поэтому в романах Достоевского нет причинности, нет генезиса, нет объяснений из прошлого, из влияний среды, воспитания и пр.

³ Там же, сс. 13. 15.

⁴ Там же, сс. 43 – 44.

⁵ Там же, с. 36.

Каждый поступок героя весь в настоящем и в этом отношении не предопределен; он мыслится и изображается автором как свободный»⁶.

Эти наблюдения, подчеркивающие принципиальную философичность произведений Достоевского, их нацеленность на исследование самосознания (мировоззрения) тех персонажей русского мира, которые были им увидены и изображены, чрезвычайно важны для предпринимаемого мною исследования.

Вместе с тем, что касается наблюдения М.М. Бахтина о выключения героев из течения времени, их нерассмотрения в становлении (развитии), то это, на мой взгляд, не совсем так. Во-первых, что касается рассматриваемого в настоящей главе романа «Преступление и наказание», его главный герой Раскольников свое развитие в позиции права на убийство все же демонстрирует. Как будет показано, в эпилоге он все же раскаивается – переходит от позиции страдания от того, что не оказался человеком, право имеющим на убийство, к позиции – раскаяния за убийство как постулируемый христианством смертный грех. Конечно, сделано это «скороговоркой», авторскими словами, но все же сделано и тем самым, эволюция героя намечена.

И, во вторых, герои Достоевского претерпевают существенную эволюцию, если рассматривать их не в пределах рамок отдельных произведений, но и в их переходах от одного произведения к другому. Конечно, это касается лишь тех, которым Достоевский отводит роли «сквозных» героев. К таковым, как я буду говорить об этом позднее, без сомнения, относится «подпольный человек». Роль этого персонажа, кочующего по всем творениям Достоевского, отмечалась не только самим автором, но была подмечена исследователями его творчества. Так, тот же М.М. Бахтин, высоко ставит значение «подпольного человека» в творчестве Достоевского: он «искал такого героя, который был бы сознающим по преимуществу, такого, вся жизнь которого была бы сосредоточена в чистой

⁶ Там же, с. 38.

функции сознавания себя и мира. И вот в его творчестве появляется «мечтатель» и «человек из подполья»⁷. И этот кочующий персонаж не может не развиваться. Вспомним, что герой «Записок из подполья» годами мечтает о своем действии, о выходе из подполья на свет и материализации своих желаний. А «подпольный человек» Родион Раскольников начинает с того, что материализует свою «мечту», а вот дальше уходит в «подполье» размышлять – что теперь с материализованной мечтой делать. Или Смердяков, воспринявший «мечту» - «идею» от брата Ивана, воплотивший ее, а далее не вынесший ее последствий. Все это – примеры становления, которых, как полагал Бахтин, у героев Достоевского нет.

Сказанное, конечно, не снижает значимость бахтинского исследования. И одно из его следствий, это, конечно, особая роль (даже – миссия) слова у Достоевского. Скажу более. В случае Достоевского воистину «вначале было слово» - слово изощренное, проникновенное и пронизывающее, слово больное и из себя, своей болезнью творящее материю. То, чем русский человек иногда мучился, не зная, что именно у него болит, как это больное именуется и что случится, если это больное (не дай Бог!) возьмет над ним верх, - все это благодаря писателю было извлечено на свет, объяснено, сделалось одним из фактов жизни, а иногда даже служило примером. Самим писателем это называлось «предвидением» и он этим особенно гордился⁸.

Словом, томившаяся в запечатанной старой бутылке темная сила была выпущена на волю и начала завоевывать себе место в душах людей. Об одном из изобретенных им самим и, похоже, центральном своем герое – «подпольном человеке» Ф.М. говорил едва ли не с гордостью: «Подпольный человек есть *главный человек в русском мире*. Всех более писателей говорил о

⁷ Там же, с. 47.

⁸ Как на подтверждения «предвидения» можно указать на следующие факты. Публикация первых глав «Преступления и наказания» совпала с убийством, совершенным московским студентом А.М. Даниловым ростовщика Попова и его служанки. Спустя несколько месяцев студент Д.В. Каракозов стрелял в Александра II, а дело «нечаевцев» об убийстве студента И.И. Иванова совпало с выходом романа «Бесы».

нем я, хотя говорили и другие, ибо не могли не заметить»⁹. (Выделено мной. – С.Н.) И еще: «Я горжусь, что впервые вывел настоящего человека *русского большинства* и впервые разоблачил его уродливую и трагическую сторону. ...Только я один вывел трагизм подполья, состоящий в страдании, в самоказни, в сознании лучшего и в невозможности достичь его...»¹⁰

Какова была дальнейшая историческая траектория этой «подпольной» субстанции, мне еще предстоит попробовать понять в дальнейшем исследовании. А пока гипотетически укажу на ее возможную траекторию, обратившись к свидетельству одного из наиболее пронизательных аналитиков эпохи надлома и последующего крушения русской жизни вообще и культуры в частности Федора Августовича Степуна, жившего сознательной жизнью от начала XX века до 1965 года. По его оценке, сущность слома русской жизни точно определил Бердяев, когда сказал, что большевизм «есть не что иное, как смесь подсознательного извращенного апокалипсиса с нигилистическим бунтарством»¹¹. Думаю, значительную часть работы по актуализации этого подсознательного выполнил именно столь высоко чтимый в российской интеллигентской среде Ф.М.

Пытаясь давать предварительную общую оценку творчества Достоевского, к чему непременно придется вернуться в дальнейшем после завершения аналитической работы, я беру на себя смелость высказывать и еще несколько пока не обоснованных суждений, к тому же иногда расходящихся с признанными мнениями высоких авторитетов.

Так, В.С. Соловьев, сравнивая творчество Ф.М. с произведениями других классиков русской литературы, отмечает, что в их случае предметом исследований было состояние общества, то есть быт, в то время как у Достоевского мы находим анализ «общественного движения». В статье «Три речи в память Достоевского (1818 – 1883)» читаем: лучшие «произведения

⁹ Достоевский Ф.М. Литературное наследие, т. 83, с. 314. Цит. по: Громова Н.А. Достоевский. Документы, дневники, письма, мемуары, отзывы литературных критиков и философов. М., Аграф, 2000, с. 87.

¹⁰ Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений в 30 томах. Л., Наука, 1980. Т. 16, с. 329.

¹¹ Федор Степун. Бывшее и несбывшееся. Санкт-Петербург, Алетейя, 2000, с. 509.

Тургенева, в особенности «Записки охотника» и «Дворянское гнездо», представляют чудесные картины никак не общественного движения, а лишь общественного *состояния*, - того же старого дворянского мира, который мы находим у Гончарова и Л. Толстого. Хотя затем Тургенев постоянно следил за нашим общественным движением и отчасти подчинялся его влиянию, но смысл этого движения не был им угадан, и роман, специально посвященный этому предмету («Новь»), оказался совершенно неудачным». ¹²

Позволю себе два возражения. Первое: анализом движения общества в русской классике занимался отнюдь не один Достоевский. Достаточно упомянуть его великого современника Н.С. Лескова с его романами «На ножах» и «Некуда», в которых пагубность начатого в российском обществе революционного движения, которому сопутствовало усиление варваризации и аморализма показана столь отчетливо, что, будучи обнаруженными советской цензурой, привели к запрету публикации в СССР этих произведений. И второе, что касается собственно творчества Тургенева. В представленном в предыдущих двух томах исследовании анализе его творчества было показано, что одной из главных разрабатывавшихся им проблем была как раз проблема развития в стране «позитивного» дела. И то, как Россия шла по этому пути, как раз и служит примером исследования не столько общественного состояния, сколько общественного движения. К тому же Тургенев великолепно не только «угадал», но и точно зафиксировал параллельно идущий с этим позитивным движением иной, революционаристски-разрушительный процесс, об опасности которого он попытался сообщить. Отчего «смыслом общественного движения» следует считать извлечение на свет грязи подсознательного и не считать действительно имевшие место попытки сделать упор на рассмотрении и утверждении примеров позитивного воздействия на действительность, не понятно.

¹² Соловьев В.С. Литературная критика. М., Современник, 1990, с. 39.

И, наконец, третье: упоминаемые Соловьевым романы Тургенева не только самостоятельные произведения, в которых, как он полагает, Тургенев лишь фиксировал «общественное *состояние*», но и звенья единой цепи. Звенья этой цепи символизируют именно «общественное *движение*», а именно процесс перехода наиболее просвещенной и активной части русского общества от «состояния болтовни» (первый роман «Рудин») к «состоянию дела» (шестой роман «Новь»). А вот почему этот процесс не стал определяющим, действительный, требующий ответа вопрос.

Однако отчего писатель Достоевский полагал «подпольного человека главным человеком в русском мире»? Ведь болезнь и прямое, в том числе авторское указание на вырождение, которое обозначается этими персонажами, никак не обещают будущего. Ответ, на мой взгляд, нужно начинать искать уже в личности самого писателя. Ведь подобно хожденцам в народ из тургеневской «Нови», карликам и мужеподобным барышням, в том числе, Ф.М. с самого своего рождения также был человеком «ущемленным», очень близко стоящим к «униженным и оскорбленным» разного рода. Ущемлен и уязвлен он был скандалами, постоянно сопровождавшими жизнь его родителей¹³, агрессивной-непредсказуемой обстановкой учебного класса, состоявшего, к тому же, на треть из поляков, а еще на треть из немцев. Не добавили душевного спокойствия беспорядочная жизнь в период учебы в Инженерном училище¹⁴ и мечты о будущем величии. Обухом по голове был арест всего лишь за участие в кружке и произнесенные неосторожные слова¹⁵. Он, кажется, навсегда был оглушен объявленным и тут же (как в

¹³ Подросток Федя, как свидетельствуют родственники, не любил младшего брата и сестру, боялся отца. Отец, врач больницы для бедных, страдавший эпилепсией, постоянно ревновал жену, а после ее смерти вышел в отставку и уехал в купленное имение. Там, предаваясь разврату и пьянству, он бесчинствовал столь изрядно, что в конце концов был убит собственными крестьянами. (Достоевскому в это время было 18 лет, что означает, что пик папашиных «похождений» приходился на период подросткового созревания Ф.М.)

¹⁴ Азартные игры и кутежи были постоянным явлением.

¹⁵ В 1847 году Достоевский вошел в кружок Петрашевского, но вскоре, в 1848 году, присоединился к его более радикальному ответвлению – кружку Дурова, в котором обсуждались идеи освобождения крестьянства, как говорил Ф.М., «хотя бы путем восстания». Весной 1849 года последовал арест членов кружка, Достоевского в том числе.

насмешку) отмененным смертным приговором (было ему в это время 27 лет), ссылкой, солдатской лямкой, неудачной первой женитьбой и последовавшей тягостной семейной жизнью¹⁶. Его снесла разрушающая человеческое достоинство и самую личность страсть к азартной игре, зависть к литературным «барам» (Тургеневу и Толстому¹⁷), в то время как он был обречен еженощно за письменным столом отбывать литературную барщину, средств от которой доставало лишь на кусок хлеба. И так всю жизнь.

Литератора с подобными Достоевскому взглядами на жизнь и с такой судьбой в отечественной словесности до него не было. К тому же, столь свойственные русскому духу апокалиптические предчувствия и пророчества, причудливо уживающиеся с трезвым взглядом на действительность, в его лице нашли действительно глубокого выразителя.

Иногда его язвительность и интерес ко всему болезненному связывают с желанием защитить «родную почву» от «разлагающего» воздействия мысли иноземной. Вряд ли это однозначно так. Приписываемая писателю склонность к славянофильству сильно преувеличена и им же самим часто опровергалась. По адресу ортодоксальных приверженцев этой мировоззренческой позиции он высказывался, например, так: «...Что за террор мысли? Чуть мыслит человек не по-вашему – губить его, чем другим нельзя, так хоть клеветой. ...Славянофилы имеют редкую способность не узнавать своих и ничего не понимать в современной действительности. Одно худое видеть – хуже, чем ничего не видеть. А если и останавливает их когда что хорошее, то если чуть-чуть это хорошее не похоже на раз открытую когда-то в Москве формочку их идеалов, то оно безвозвратно отвергается и еще ожесточеннее преследуется, именно за то, что оно смело быть хорошим не так, как раз навсегда в Москве приказано. ...Смотрите, как тот же

¹⁶ Француженка по происхождению Мария Дмитриевна Исаева – вдова, имела детей от первого брака, была истерична и больна туберкулезом. Вскоре после женитьбы их жизнь с Достоевским стала мучением.

¹⁷ Впрочем, известны и мнения Толстого о Достоевском, не всегда лестные. Одно из них доносил М. Горький: «Он (Достоевский – С.Н.) был человек буйной плоти. ...Чувствовал многое, а думал – плохо». Горький М. Собрание сочинений. М., 1963. Т. 18, с. 83.

Аксаков в 1-ом номере «Дня» относится сплошь ко всей русской литературе. Он смотрит на нее враждебно-скептически, он отрицает в ней все свое с легкостью, нестерпимую от серьезно болеющего сердцем человека, с улыбкой с высокооскорбительной... У него вся литература наша – сплошь подражание и стремление к иноземному идеалу».¹⁸¹⁹

Творчество Достоевского множество раз было и не перестает оставаться предметом не только литературного, но и философского исследования. О большой литературе Достоевского на русском написано никак не меньше, если не больше, чем о творчестве Толстого и, уж наверняка, многократно более, чем о Тургеневе, Лескове или Чехове. Сам по себе этот факт симптоматичен. Однако среди всех авторов, писавших о Достоевском, может быть одним из самых глубоких мыслителей, чьи воззрения в то же время были во многом созвучны автору «Бесов», справедливо считать Н.А. Бердяева. В дальнейшем я буду неоднократно обращаться к его труду «Миросозерцание Достоевского». Теперь же, в начале исследования литературного творчества автора «Преступления и наказания», полагаю полезным обратить внимание на некоторые самые общие замечания философа.

В главе с примечательным названием «Достоевский и мы» Бердяев ни много, ни мало признает за Достоевским авторство той «внутренней катастрофы», которая последовала за «спокойной и счастливой» эпохой 40-х годов. Он прямо пишет: «наше мироощущение сделалось катастрофическим. Это Достоевский нам его привил»²⁰.

Вряд ли слова Бердяева можно считать абсолютно точными. При всей силе таланта, даже такого, какой был у Достоевского, «привить» читателю нечто, если на то не будет воли читающего, писатель не может ничего. А вот обнаружить, извлечь на свет нечто темное, где-то глубоко в самом человеке

¹⁸ Достоевский Ф.М. Время. 1861, т. 11 – 12, сс. 65 – 66, 69 – 70. Цит. по: Громова Н.А. Цит. соч., с. 70.

²⁰ Бердяев Н. Миросозерцание Достоевского. М.: Издательство «Хранитель», 2006, с. 179.

спрятанное, но до поры не извлеченное на свет, не названное и потому как бы не существующее, представить его чуть ли не главным, увериться в этом самому и убедить в этом расположенного к этому читателя и, в итоге, сделать реальной возможность материализации этого темного и больного, это Достоевский мог и делал.

Как гениальный философствующий писатель Достоевский не просто «расширил» восприятие русского мира. Прав Бердяев, когда говорит, что он «сменил ткань души». «Души, пережившие Достоевского, обращаются к неведомому и жуткому грядущему, души эти пронизываются апокалиптическими токами, в них совершается переход от душевной середины к окраинам души, к полюсам»²¹. К сожалению, от «полюсов» нельзя ожидать нормальности – залога здорового развития общества или человека. Достоевский же – открыватель, толкователь и литературный пропагандист «полюсов», к тому же, как писатель, всегда претендующий на роль гения²², вовсе не против их материализации.

В самом деле, безвестный домашний учитель Алексей Иванович - герой автобиографического романа «Игрок» - не просто одна из многих фигур, составляющая тот обобщающий тип русского человека, который созидает своим творчеством каждый отечественный писатель, и Достоевский в том числе. Этот тип – концентрированное выражение многих сторон природы русского человека, о которой, при доброжелательном столкновении с ней, другой герой этого романа – лишенный «болезней» игрока нормальный человек англичанин мистер Астлей говорит: «Да, вы погубили себя. Вы имели некоторые способности, живой характер и были человек недурной; вы даже могли быть полезны вашему отечеству, которое так нуждается в людях, но – вы останетесь здесь, и ваша жизнь кончена. Я вас не виню. На мой взгляд, все русские таковы или склонны быть таковыми. Если не рулетка, так

²¹ Там же, с. 180.

²² Известно, что свои первые литературные опыты он ставил не иначе как в соперничестве с великими: писал «Марию Стюарт», уже написанную Шиллером и «Бориса Годунова», написанного Пушкиным.

другое, подобное ей. Исключения слишком редки. Не первый вы не понимаете, что такое труд (я не о народе вашем говорю). Рулетка – это игра по преимуществу русская. До сих пор вы были честны и скорее захотели пойти в лакеи, чем воровать... но мне страшно подумать, что может быть в будущем».²³

Бездны иррациональных человеческих начал, которые открыл и исследовал Достоевский, полагает Бердяев, «опрокидывают истины гуманизма. В человеке открываются новые миры. И меняется вся перспектива. Гуманизм не измерял всей глубины человеческой природы, не измерял не только материалистический, плоский гуманизм, но и более глубокий идеалистический гуманизм, даже христианский гуманизм. В гуманизме было слишком много благодушия и прекраснотушия. Реализм действительной жизни, как любил говорить Достоевский, действительность человеческой природы более трагичны, заключают в себе большие противоречия, чем это представляется гуманистическому сознанию. После Достоевского нельзя уже быть идеалистами в старом смысле слова, нельзя уже быть «Шиллерами», — мы роковым образом обречены на то, чтобы быть трагическими реалистами. Этот трагический реализм характерен для духовной эпохи, которая наступает после Достоевского. Это налагает тяжкую ответственность, которую люди последующего поколения с трудом могли нести. «Проклятые вопросы» сделались слишком жизненными, слишком реальными вопросами, вопросами о жизни и смерти, о судьбе личной и судьбе общественной. Все стало слишком серьезным»²⁴.

Конечно, если отнести к творчеству Достоевского как к такому, которое «опрокидывает истины гуманизма», то есть окончательно и бесповоротно отвергает гуманистическое сознание, то здесь и следовало бы поставить точку, в том числе - и в попытке реализации с помощью его произведений замысла реконструкции русского мировоззрения. Однако, к

²³ Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений в тридцати томах. Л., Наука, 1973. Т. 5, с. 317.

²⁴ Бердяев Н. Цит. соч., с. 181.

счастью, это не так. Русская литература не началась и не закончилась Достоевским, а в его творчестве нет столь сильного антигуманистического посыла. Русский человек, при том, что Достоевский, несомненно, открыл в нем ранее не исследованные океанские бездны и космическую беспредельность, все же оказался еще более «широк», чем говорил о нем устами одного из героев автор «Братьев Карамазовых». Что же до «проклятых вопросов», которые сделались «слишком жизненными, ...вопросами о жизни и смерти, о судьбе личной и судьбе общественной», то ими не в меньшей степени заботился, например, и Лев Толстой. Однако, в отличие от Достоевского и Бердяева, он не считал, что эти вопросы выводят нас за пределы гуманистического сознания. Более того: настаивал, что именно в пределах этого сознания их и надо пытаться решать.

Впрочем, для Бердяева - современника переломной эпохи рубежа XIX - XX столетий, родоначальника отечественного религиозного экзистенциализма явление Достоевского, без сомнения, представлялось альфой и омегой того катастрофического сознания, которое Федор Михайлович, согласно Бердяеву, не только провидел и пророчествовал, но даже и в действительность «воплотил».

С Бердяевым, опять же, можно согласиться и в том, что «для творческой религиозной мысли Толстой был почти бесплоден и необычайно плодоносен был Достоевский». Но, подчеркну, именно для религиозной мысли в том понимании, которое ей придавал Бердяев. Что же до размышлений о конечных вопросах человеческого бытия, то определять фигуру Толстого как «бесплодную» вряд ли справедливо. Впрочем, и тезис – «Все эти Шатовы, Кирилловы, П. Верховенские, Ставрогины, Иваны Карамазовы появились уже в XX веке. Во время самого Достоевского они были не реальной действительностью, а предвидением и пророчеством»²⁵ - также спорен. Даже не акцентируя вопроса о реальности исторических прототипов «бесов» - Нечаева и компании или фигур семейства Карамазовых, нельзя согласиться,

²⁵ Там же, с. 183.

что на отечественную сцену они явились лишь в XX столетии. Вспомним хотя бы достаточно типичный российской действительности образ Михайлы Куролесова из «Семейной хроники» С.Т. Аксакова – самодура и садиста рангом никак не ниже Карамазова-отца. В этом – возникающем время от времени «не замечании» грязи смрада современной ему действительности у Бердяева явная передержка, обусловленная близостью его собственного «творческого религиозного» духа и духа Достоевского, отсюда схожесть в их оценках России прошлой, равно как и их мыслей о России будущей.

Возвышаясь, как ему кажется, до оценки Достоевского в категории абсолютного, Бердяев итожит: Достоевский – «величайший русский метафизик. И все наши метафизические идеи идут от Достоевского. Он живет в атмосфере страстных, огненных идей. Он заражает этими идеями, вовлекает в их круг. Идеи Достоевского — духовный хлеб насущный. Без них нельзя жить. Нельзя жить, не решив вопроса о Боге и дьяволе, о бессмертии, о свободе, о зле, о судьбе человека и человечества. Это не роскошь, это — насущное. Если нет бессмертия, то не стоит жить. Идеи Достоевского — не абстрактные, а конкретные идеи. У него идеи живут. Метафизика Достоевского — не абстрактная, а конкретная метафизика. Достоевский научил нас этому конкретному, жизненно-насущному характеру идей. Мы — духовные дети Достоевского. Мы хотели бы ставить и решать «метафизические» вопросы в том духе, в котором их ставил и решал Достоевский»²⁶.

Природа «страстных, огненных идей» Достоевского – любимая тема многих исследователей его творчества. Откуда брали они свое начало? Находил ли их Достоевский в современном ему обществе или они рождались из глубин его собственного больного сознания? (То, что Ф.М. сильно и постоянно страдал от «падучей» - эпилепсии, общеизвестно). Не отрицая серьезной значимости его болезни, приведу мнение одного из самых авторитетных его исследователей. «Достоевский, - писал Ю.И. Селезнев, -

²⁶ Там же, сс. 184 – 185.

почти физически, как бы на себе самом ощущал зародыши начинающегося «химического распада» общества».²⁷ Действительно, распался старый мир «дворянских усадеб», появлялись «новые» люди и укреплялось мнение, что буржуа в России, как и в Европе, вскоре станут основным социальным классом. Что же тревожило Достоевского?

Ему не давало спокойно жить сознание, что возможное завтра России – это сегодня Европы, которую он находил умирающей и жизнь в которой представлялась ему постоянной борьбой «всеобщезападного личного начала с необходимостью хоть как-нибудь ужиться вместе, устроиться в одном муравейнике, не поедая друг друга...»²⁸ Но как избежать этого и как сделать так, чтобы люди желали стать такими «Я», которые были бы готовы всего себя пожертвовать обществу? Убежденность в единственности этого выхода и его явный утопизм не давали Ф.М. покоя.

Проза Достоевского с точки зрения исследования на ее материале мировоззренческой проблематики трудна и имеет ряд особенностей. Во-первых, изображаемые писателем герои практически лишены тех связей с миром, на которых до него всегда акцентировала внимание русская классика. Персонажи автора «Униженных и оскорбленных», живущие, за редким исключением, только в городах, не подозревают (в отличие то героев Тургенева, Гончарова или Толстого) о возможных глубоких связях человека с природным миром – лесом, степью, полем, рекой, садом. Они, кажется, никогда не поднимают голову и потому не знают о существовании неба. Даже деревья для них, как правило, закрыты заборами и домами. У них, далее, (в противоположность героям Соллогуба, Григоровича и Аксакова) нет забот о согласовании своих взглядов, привычек и способов жить с традицией предков, с предшествующими поколениями: часто они люди почти безродные. Тем более, они, вслед за героями Тургенева, не мечтают о краях, куда «кулички летят», не боятся домовых (часто – напротив, с

²⁷ Селезнев Ю. Достоевский. ЖЗЛ. М., Молодая гвардия, 2007, с. 234.

²⁸ Цит. по: Селезнев Ю. Достоевский, с. 267.

нечистью общаются), не размышляют о смерти как жизни в ином мире и не думают о том, как умереть спокойно и достойно.

Да и нельзя ожидать такого рода размышлений от писателя, который жил не просто в городском мире, но в мире стоящего на болоте Петербурга. «Танцевали люди где-то в дворцах около Невы, а новый писатель смотрел через крыши, сквозь узкие, как щели, чердачные окна, на эти далекие дворцы с широкими, запертыми для него дверями». Эта новая литература «хотела выразить *новую жизнь*, говорить от лица *нового человека*, судить во имя этого человека и одновременно его *разыскивала*. (Выделено мной. – С.Н.)». Говорит это Виктор Шкловский²⁹. Точно говорит.

Один из серьезных зарубежных исследователей творчества Достоевского японец Кэнноскэ Накамура, поставив перед собой цель раскрыть проблему восприятия природы в романе «Преступление и наказание» и подошедший к задаче со всей возможной тщательностью и ответственностью, в конце концов вынужден был признать, что чувство близости смерти, которое рождает произведение, не может быть преодолено ничем, в том числе и редкими картинами живой природы. ««Преступление и наказание», - пишет он, - является романом, автор которого, если так можно выразиться, вел тщательное «экологическое» наблюдение за холодным полумертвым настроением, пронизывающим героя до мозга костей. Вот почему этот роман производит на меня неприятное, тяжелое впечатление, и когда я листаю его, меня словно охватывают холодные руки. Сильное чувство отчужденности и неодолимая апатия, охватившие Раскольников, всегда представляют собой страшную муку для человека как живого существа. Мы вынуждены встретить нечто мучающее нас, когда мы ранены или принуждены стоять перед лицом какого-либо кризиса. Но всякий человек, пока он жив, желает по мере возможности избежать этой темной и холодной ямы»³⁰.

Более того, природа у Достоевского нередко отождествляется с самой смертью. Вот Ипполит Терентьев говорит о картине «Смерть Христа»

²⁹ Шкловский В. За и против. Заметки о Достоевском. М., Советский писатель, 1957, с. 18.

³⁰ Кэнноскэ Накамура. Чувство жизни и смерти у Достоевского. СПб, ДБ, 1997, с. 38.

Гольбейна, увиденной в доме Рогожина: «...Природа мерещится при взгляде на эту картину в виде какого-то огромного, неумолимого и немощного зверя или, вернее, гораздо вернее сказать, хоть и странно, - в виде какой-нибудь громадной машины новейшего устройства, которая бессмысленно захватила, раздробила и поглотила в себя, глухо и бесчувственно, великое и бесценное существо - такое существо, которое одно стоило всей природы и всех законов ее, всей земли, которая и создавалась-то, может быть, единственно для одного только появления этого существа! Картиной этою как будто именно выражается это понятие о темной, наглой и бессмысленно-вечной силе, которой всё подчинено, и передается вам невольно»³¹.

Герои Достоевского, далее, почти никогда не имеют отношения к тому, что в предыдущем томе исследования именовалось и рассматривалось как «позитивное дело». Даже когда они заняты «службой» или «уроками», это вряд ли можно называть конструктивным, созидательным делом. Верно, хотя и в агрессивной манере, отмечает эту особенность прозы Достоевского в своей вызывающе-эпатирующей книге крупный современный российский писатель Эдуард Лимонов: «...Он никогда не умел занять этих героев (Раскольников, Мышкин, Верховенский, Настасья Филипповна. – С.Н.) героическим делом. Они у него по большей части болтают и рисуются, а их покаяние невыносимо»³².

А что обнаруживают литературоведы у молодого Достоевского внутри? В год выпуска из Инженерного училища пришло известие: отец убит крестьянами. Исследователи утверждают, что вернувшийся в деревню лекарь не только злоупотреблял спиртным, но и не упускал ни одного случая в отношении женского пола. И что в образе Карамазова-отца Ф.М. не преминул употребить черты отца собственного. Как бы то ни было, в стычке с крепостными он погиб. Перед властями встала дилемма. Если разбирать дело по существу, то ссылать надо многих крестьян – били скопом и ссылать

³¹ Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений в тридцати томах. Л., Наука, 1973. Т. 5, с. 339.

³² Лимонов Э. Священные монстры. М., Ad Marginem, 2004, с. 17.

всех означало малую деревню – наследство детей-сирот – разорить. Потому решили (ради детей) признать смерть помещика результатом апоплексического удара. Младшие дети про то не ведали, а Ф.М., знавшему все, каково было? Вот он и настоял на том, чтоб получить свою долю тут же деньгами, хотя и сравнительно малыми – всего тысяча рублей. Да и из той тысячи девятьсот потратил в один день, а оставшуюся сотню проиграл на биллиарде. При любом варианте размышления – ситуация не из легких, в особенности для Ф.М. К тому же деньги-то он (грязные и с отцовской кровью) все-таки взял. Чем не благодатная почва для подсознательных артикулируемых мучений Ивана и Дмитрия Карамазовых на тему кровавых денег, выведенных на страницах романа по поводу убийства Карамазова-отца.

Герои Достоевского, как правило, внутренне глубоко противоречивы, стороны «pro» и «contra» их раздробленных личностей постоянно спорят и конфликтуют между собой. Так, например, сообщая Н.Н. Страхову о замысле романа «Игрок», Достоевский пишет о главном герое: «Я беру натуру непосредственную, человека однако же многоразвитого, но во всем недоконченного, изверившегося и *не смеющего не верить*, восстающего на авторитеты и боящегося их».³³ Но даже и внутренне цельные герои Ф.М. (и в этом случае почти всегда «положительные», как, например, alter ego писателя – герой «Униженных и оскорбленных» Иван Петрович) - и те все время пребывают в состоянии сомнения, исканий, терзаний если не по поводу самих себя, то в отношении близких им людей. При этом внутренние (на грани драмы) конфликты, - только часть свойственного им общего состояния постоянного «внешнего» противоборства, доходящего иногда до войны всех против всех. (Конечно, конфликт – основная пружина любого произведения. Однако у Достоевского – это больше, чем литературный прием, это способ жизни, воздух, который проникает всюду).

³³ Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений в тридцати томах. Л., Наука, 1973. Т. 5, с. 398.

Наконец, значительное место в произведениях Достоевского занимают так называемые «идеальные» (не только от слова «прекрасные», сколько от слова «идея») художественные типы (князь Мышкин, например), то есть сочиненные писателем для материализации любимой мысли. И это - «четвертое» измерение, добавляемое писателем к анализу действительности, свойство, которым он хочет наделить ее. От этих типов, кстати, и исходит та духовная аура, то долженствующее морализаторство, которое, наряду с миазмами из подполья, и претендует на формирование читательского мировоззрения и делает его, как отмечает Бердяев, «катастрофическим». Как? А так, что если подпольные испарения отравляют напрямую, то испарения, так сказать, благовонные, вызывают в нас чувство их собственной несбыточности и тем самым еще сильнее перенаправляют наше мировоззренческое «обоняние» в сторону подлинных миазмов. При этом, если у Толстого (не менее активно практикующего морализатора) мы находим только отдельные попытки мировоззренческого «преобразования» действительности посредством навязывания ей идеальных типов – будь то Платон Каратаев или Константин Левин, то у Достоевского такие попытки постоянны, превращаются в основной принцип его творчества, делаются системой.

И, наконец, последнее предварительное замечание. Оно связано с той ролью, которая отводится творчеству Ф.М. Достоевского в культуре России. Когда говорят о ней, то, как правило, сразу называют наиболее известные на Западе два имени: Достоевский и Толстой. И так считают не только на Западе. Известный российский исследователь профессор Б.В. Соколов прямо пишет: «Федор Михайлович Достоевский – не просто один из величайших русских писателей. Это тот человек, по произведениям которого весь мир судит о России, о таинственной русской душе».³⁴

Но можно ли отождествлять русскую душу с тем, что в ней обнаружил или приписал Достоевский? Во многом это наблюдение, к счастью, не верно.

³⁴ Соколов Б.В. Расшифрованный Достоевский. М., «Эксмо», «Яуза», 2007, с. 5.

Не только ради перемены мнения о нас других народов, но и для нашей собственной пользы нам еще предстоит преодолеть этот искажающий реальность центризм. Думаю, этой бытующей традиции способствует и разработанность в отечественной мысли прежде всего религиозной составляющей творчества Достоевского, равно как и «народопоклонство» Льва Толстого. В отечественной философствующей литературе есть множество иных, не менее значимых вопросов и магистральных тем. Мировоззренческие системы Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Тургенева, Гончарова, Салтыкова-Щедрина и Лескова с точки зрения философии важны не менее, чем размышления Достоевского или Толстого, составляющие гигантское, все еще мало исследованное мыслительное пространство. Интерпретируя известную политическую формулу, пришло время подумать о расширении фактически сложившегося в нашей культуре «двуполярного» понимания российского литературно-философского мира до «многополярного».

Высказав предварительные замечания о творчестве писателя, равно как и о мировоззрении, которое созидает Достоевский своими героями, перейду к анализу конкретных произведений.

* * *

«Игрок» (1866) – один из ключевых ранних романов, позволяющий в определенной мере понять личность самого Достоевского. Игра для его центрального героя, во многих чертах коррелирующего с личностью автора – не столько страсть к возможному мгновенному обогащению, не надежда «выдержать характер» в любых обстоятельствах, в том числе и при огромном проигрыше, и даже не психологическая возможность нестись как на «американских горках» и тем самым проживать жизнь в особом, подобно наркотическому, состоянии. Достоевского, на мой взгляд, страсть к рулетке поглощала прежде всего потому, что с помощью игры его с неизбежностью выбрасывало на «полюса», о которых говорит Бердяев. Ощущение могущества, которое дает обладание шальным образом доставшегося богатства, опасность в каждую следующую минуту потерять его и, наконец,

действительная потеря, создающая ощущение собственного ничтожества, - эти материализованные в рулетке «качели» - альфа и омега творчества Достоевского-писателя и, возможно, природы Достоевского-человека.

Но так ли это? Вот что пишет по этому поводу Ю. Селезнев. Он «ощутил невозможность и даже совершенное нежелание противиться этой страсти: в ней была своя поэзия риска и поэзия надежды, то всеохватывающее состояние переступания³⁵ словом за очерченную судьбой черту, ледящее душу и вместе доводящее до восторга, о котором Пушкин писал: «Есть упоение в бою и бездны мрачной на краю...» Да, игра – это бой, схватка с невидимым, но могучим и коварным противником – вечно усмехающимся над человеком слепым роком; это дерзкий вызов случаю, отчаянная попытка своей собственной волей изменить круг предначертанности. И разве же не были в этом смысле игроками и Магомет, и Наполеон? Разве не поставили они на карту и собственную жизнь, и жизни миллионов людей, круто изменив привычный ход истории? А Гомер и Шекспир? Да и сам он не переступил ли черту судьбы, предуготовившую ему путь военного чиновника, но он поставил на «Бедных людей» и выиграл. ...Нет, тут не просто корысть, тут в несколько минут переживаешь ощущение вечности...»³⁶

Идея игры с судьбой, шутовских забав с самой вечностью посредством рулетки звучит и у самого Достоевского. Например, главный герой «Игрока» Алексей Иванович так описывает один из моментов своей игры: «Тут бы мне и отойти, но во мне родилось какое-то странное ощущение, какой-то вызов судьбе, какое-то желание дать ей щелчок, выставить ей язык».³⁷

Итак, в предложенной интерпретации игра - попытка посмеяться или даже освободиться от рока? Но в чем доказательства, что и в этом случае не рок решает, выиграл ты или проиграл? Не он ли определяет так же одно из

³⁵ Обращу внимание на этимологическую, да и сущностную близость этого слова с другим, ключевым для Достоевского словом – «преступление».

³⁶ Там же, сс. 278 – 279.

³⁷ Достоевский Ф.М. Цит. соч., с. 224.

решений: не входить в игорный зал; войти, но только смотреть; войти и начать игру? И мог ли Наполеон отменить «желание» французской нации, материализованное в воле гвардии свободным людям, гражданам французской республики идти покорять монархистскую Европу и, далее, Россию? Волен ли был сам Ф.М. не писать «Бедных людей»? Где тут рок: в свободном решении писать или в невозможности не писать? Проблема, как это неоднократно показали, в частности, Пушкин и Лев Толстой, в том, что рок (судьбу) в принципе нельзя обнаружить и адекватно истолковать. Любого, даже самого искушенного «испытателя-исследователя» никогда не покидает сомнение – правильно ли он объясняет нечто испытываемое именно этим, а не прямо противоположным образом.

А вот в том, что касается «переживания ощущения вечности», то тут Ю. Селезнев, пожалуй, отчасти прав: с поправкой, что дело не в ощущении масштаба (вечность как временную бесконечность переживать нельзя). В процессе игры содержащиеся в вечности крайности сжаты в «точку», в то время как в «нормальном» вечном бытии они свободно рассредоточены по всему ее «пространству». Страсть игры - в ее абсолютной непредсказуемости, в том, что она действует мгновенно и неожиданным образом как «живая» и «мертвая» вода, при том, что пользующийся ею «богатырь» в каждом случае не знает, какая именно вода у него в руках и что случится после того, как кувшин опрокинется ему на голову.

То, насколько игра захватывает людей, Достоевскому было известно не только по собственному опыту, но и потому, что он, в частности, прочитал в одной из статей под названием «Из записок игрока»: «В Висбадене еще очень недавно молодой человек, проигравший там все состояние, в порыве отчаяния застрелился в игорной зале в виду многочисленной публики, столпившейся вокруг рулетки. Замечательно, что печальное событие это не прервало даже хода игры, и выкликавший номера продолжал вертеть цилиндр с таким же хладнокровием, с каким приказал служителю вычистить

зеленое поле стола, на который брызнул мозг из размозженной головы игрока».³⁸

Дьявольское место и деяния. Люди одержимы столь часто вспоминаемым Ф.М. чертом. И, тем не менее, у него, человека по имени Достоевский, не сложилось решения не участвовать в этом предприятии. Засвидетельствовано, что играл он безрассудно (хотя и утверждал иногда, что знает секреты и играть умеет), проигрывал свои и заемные деньги, принадлежащие жене (второй, любимой Анне Сниткиной. – С.Н.) средства и драгоценности, в том числе подаренные им самим.

«Жить, играя» было одной из черт природы Достоевского. Например, сам роман «Игрок» объемом в 12 авторских листов под очень невыгодную статью договора автора с издателем Стелловским был обещан к 1 ноября 1866 года. Однако к его написанию Ф.М. приступил лишь в начале октября и потому вынужден был написать его за двадцать шесть дней, рискуя оказаться в кабале. И подходил он к этому предприятию вполне осмысленно: «Я хочу сделать небывалую и эксцентрическую вещь – написать в 4 месяца 30 печатных листов, в двух разных романах, из которых один буду писать утром, а другой вечером и кончить к сроку»,³⁹ - сообщалось в письме А.В. Корвин-Круковской от 17 июня 1866 года. Впрочем, перейдем к роману «Игрок», еще раз отметив, что мысли главного героя – во многом мысли самого автора.

Понятие игры в романе, на мой взгляд, не сводится к рулетке, а философски многозначно. Игра разворачивается не только в залах вокзала Рулетенбурга. Это и способ жизни почти всех героев, в основном русских. Герои романа таковы: молодящийся глава русского семейства генерал, покинувший страну после отмены крепостного права с двумя детьми подросткового возраста, до которых ему нет дела; приемная дочь генерала Полина Александровна, своенравная до непредсказуемости, в которую

³⁸ Селезнев Ю. Цит. соч., с. 279.

³⁹ Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений в тридцати томах. Л., Наука, 1973. Т. 5, с. 399.

влюблен семейный учитель Алексей Иванович; сам Алексей Иванович, игрок, обслуга и приживал, слепо следующий воле Полины; прибившийся к семейству мерзавец – французский маркиз, которому генерал значительно задолжал; молодая авантюристка мадемуазель Бланш, жениться на которой рассчитывает после получения наследства стареющий генерал; и, наконец, неожиданно наехавшая из России семидесятипятилетняя бабушка – богатая помещица Тарасевич, родственница генерала, смерти которой с целью получения наследства он с нетерпением дожидается.

Игра в романе – та мировоззренческая основа жизни некоторых русских, которую обнаружил и исследует Достоевский. Это не отдельные черты личности, не способы взаимодействия с миром в определенные моменты человеческого бытия (будь то война или последствия неожиданно выпавшего на долю человека крупного несчастья). Это, как показывалось ранее, составляло предмет исследования других отечественных классиков. У Достоевского подход существенно иной. Для него русские – такой человеческий тип, который желает и способен преодолеть узость сложившихся на Западе общественных форм. В этом Ф.М. видел историческое преимущество России и верил, что в будущем она сможет отыскать пути к более высоким человеческим идеалам. В этой связи, - замечает автор примечаний к роману в томе полного собрания сочинений Достоевского, - «в идейно-художественной концепции романа важное место имел не лишенный символики образ русской «бабушки» Антонины Васильевны»⁴⁰. Да, судя по тому как именно бабушка включилась в игру и как она играла двое суток, проиграв все состояние, я не ошибаюсь, когда оцениваю русскую страсть к игре как один из национальных способов взаимодействия наших соотечественников с миром и с самими собой.

В своих произведениях Достоевский определенно пытается изучать русских как определенный, отличный от прочих народов, человеческий образец. При этом, речь, конечно, не идет о некоей одной, всеобъемлющей,

⁴⁰ Там же, с. 402.

типично русской черте. Таковых – как настаивает Ф.М. – собственно русских черт много. Но «жизнь в состоянии игры» со свойственной игре скоростью и непредсказуемостью – одна из наиболее важных. Вот как, например, по этому поводу высказывается Алексей Иванович. «...В катехизис добродетелей и достоинств цивилизованного западного человека вошла исторически и чуть ли не в виде главного пункта способность приобретения капиталов. А русский не только не способен приобретать капиталы, но даже и расточает их как-то зря и безобразно. Тем не менее нам, русским, деньги тоже нужны, – прибавил я, – а следственно, мы очень рады и очень падки на такие способы, как например рулетки, где можно разбогатеть вдруг, в два часа, не трудясь. Это нас очень прельщает; а так как мы и играем зря, без труда, то и проигрываемся!

- Это отчасти справедливо, – заметил самодовольно француз.

- Нет, это несправедливо, и вам стыдно так отзываться о своем отечестве, – строго и внушительно заметил генерал.

- Помилуйте, – отвечал я ему, – ведь, право, неизвестно еще, что гаже: русское ли безобразие или немецкий способ накопления честным трудом?

- Какая безобразная мысль! – воскликнул генерал.

- Какая русская мысль! – воскликнул француз.

Я смеялся, мне ужасно хотелось их раззадорить.

- А я лучше захочу всю жизнь прокочевать в киргизской палатке, – вскричал я, – чем поклоняться немецкому идолу.

- Какому идолу? – вскричал генерал, уже начиная серьезно сердиться.

- Немецкому способу накопления богатств. Я здесь недолго, но, однако ж, все-таки, что я здесь успел подметить и проверить, возмущает мою татарскую породу. Ей богу, не хочу таких добродетелей! Я здесь успел уже вчера обойти верст на десять кругом. Ну, точь-в-точь то же самое, как в нравоучительных немецких книжечках с картинками: есть здесь везде у них в каждом доме свой фатер, ужасно добродетельный и необыкновенно честный. Уж такой честный, что подойти к нему страшно. Терпеть не могу честных

людей, к которым подходить страшно. У каждого эдакого фатера есть семья, и по вечерам все они вслух поучительные книги читают. Над домиком шумят вязаы и каштаны. Закат солнца, на крыше аист, и все необыкновенно поэтическое и трогательное...

- Уж вы не сердитесь, генерал, позвольте мне рассказать потрогательнее. Я сам помню, как мой отец, покойник, тоже под липками, в палисаднике, по вечерам вслух читал мне и матери подобные книжки... Я ведь сам могу судить об этом как следует. Ну, так всякая эдакая здешняя семья в полнейшем рабстве и повиновении у фатера. Все работают, как волаы, и все копят деньги, как жидаы. Положим, фатер скопил уже столько-то гульденов и рассчитывает на старшего сына, чтобы ему ремесло аль землишку передать; для этого дочери приданого не дают, и она остается в девках. Для этого же младшего сына продают в кабалу аль в солдаты и деньги приобшчают к домашнему капиталу. Право, это здесь делается; я расспрашивал. Все это делается не иначе, как от честности, от усиленной честности, до того, что и младший проданный сын верует, что его не иначе, как от честности, продали, - а уж это идеал, когда сама жертва радуется, что ее на заклание ведут. Что же дальше? Дальше то, что и старшему тоже не легче: есть там у него такая Амальхен, с которою он сердцем соединился, - но жениться нельзя, потому что гульденов еще столько не накоплено. Тоже ждуют благонаравно и искренно и с улыбкой на заклание идуют. У Амальхен уж щеки ввалились, сохнует. Наконец, лет через двадцать, благосостояние умножилось; гульдены честно и добродетельно скоплены. Фатер благословляет сорокалетнего старшего и тридцатипятилетнюю Амальхен, с иссохшей грудью и красным носом... При этом плачет, мораль читает и умирает. Старший превращается сам в добродетельного фатера, и начинаются опять та же история. Лет эдак чрез пятьдесят или чрез семьдесят внук первого фатера действительно уже осуществляет значительный капитал и передает своему сыну, тот своему, тот своему, и поколений чрез пять или шесть выходит сам барон Ротшильд или Гоппе и Комп., или там черт знает кто. Ну-с, как же не величественное

зрелище: столетний или двухсотлетний преемственный труд, терпение, ум, честность, характер, твердость, расчет, аист на крыше! Чего же вам еще, ведь уж выше этого нет ничего, и с этой точки они сами начинают весь мир судить и виновных, то есть чуть-чуть на них не похожих, тотчас же казнить. Ну-с, так вот в чем дело: я уж лучше хочу дебоширить по-русски или разживаться на рулетке. Не хочу я быть Гоппе и Комп. чрез пять поколений. Мне деньги нужны для меня самого, а я не считаю всего себя чем-то необходимым и придаточным к капиталу. Я знаю, что я ужасно наврал, но пусть так оно и будет. Таковы мои убеждения»⁴¹.

Отношение к жизни как к игре – я бы сказал «к игре в широком смысле», действительно типично для русских и заслуживает пристального исследования. При этом, говорить нужно не об играх вообще, каждая из которых имеет определенные правила, которые должны участниками соблюдаться и которые если и нарушаются, то все играющие это считают отклонением от нормы и, тем самым, норма признается, а именно об игре типа рулетки. В рулетке правил, в соответствии с которыми играющий может вмешаться, после того как сделаны ставки, нет и все отдается на волю случая. (Конечно, и в этой игре есть определенные правила-условия – например, не ставить за раз денег больше определенной суммы. Но их действие также ограничивается моментом запуска шарика по кругу). Зададимся вопросом: отчего рулетка и в самом деле столь близка именно русским?

Если посмотреть на самые общие и устойчивые условия жизни в нашем отечестве – условия природные и социальные, то на поверхности лежит следующее. Природа России в целом не слишком располагающая к продуктивной деятельности человека (не под крышей, а под открытым небом) задает в своих «правилах» высокую степень неопределенности. К примеру, при работе на земле практически нет четких устойчивых алгоритмов в температурных режимах тепла и холода, в их временной продолжительности, в количестве и интенсивности выпадения осадков. И по

⁴¹ Достоевский Ф.М. Цит. соч., сс. 225 – 226.

мере усиления антропогенного воздействия, что в особенности типично для XX столетия, неопределенность эта возрастает. Да и сегодня, чем как не страстью к игре в совокупности с расчетом «на авось» можно объяснить нашу национальную неповоротливость в очевидной необходимости уходить от сырьевой зависимости в экономике, при том, что если и в самом деле разведанных запасов нефти и газа хватит еще на несколько поколений, то вовсе не факт, что человечество очень скоро, совершив очередные научно-технологические прорывы, не перейдет от нефти и газа к использованию возобновимых источников энергии и тогда Россия останется без средств к существованию. Впрочем, мы можем еще продавать лес и пресную воду, а потом, может быть, и сдадим в аренду или продадим сельскохозяйственные угодья. Чем не благая перспектива в контексте национальной «игровой» стратегии?

То же – в обществе. Превалирующая в нашей истории организация социальной жизни, с одной стороны изобиловала военными столкновениями (преимущественно на почве защиты народом своей территории), а, с другой, протекала в условиях разного рода самовластья, отсутствия закона или его привычного неисполнения - нарушения. Естественно, закон нарушался не только властью, но и подданными. Отсюда – при отсутствии в стране свободы как установленных и признанных рамок инициативной деятельности каждого, общественной нормой и идеалом стала воля – ничем не ограниченная и не признающая никаких рамок необузданная активность, покоящаяся на силе.

Исходя из этого, как в сфере природной деятельности человека, так и в социальных условиях у русских господствовали неопределенность и случай. Думаю, что наиболее точным именем для желания разом, одним махом выскочить из такого исторически сформированного образа жизни и поведения вполне подходит именно слово «рулетка». А раз так, то стоит ли искать какие-либо рациональные основания или, наоборот, осуждать «игровое» поведение соотечественников, в том числе и представленное

героями романа. Ведь они – всего лишь живущие в определенных условиях русские, а осуждать за «русскость» вряд ли можно. Вот Достоевский никого и не осуждает, а только изображает.

Следуя глубокой национальной привычке, главный герой романа учитель Алексей Иванович превратил игру в рулетку в содержание своей жизни. Его отношения с семьей генерала и самим хозяином неопределенны до того, что на общий обед он является без приглашения, не уверен, включен ли он в список гостей и дадут ли ему место за столом. Генерал не регулярно и не полностью платит ему за обучение детей. Полина Александровна, зная, что он в нее влюблен, беззастенчиво пользуется этим, в частности, велит ему делать то, чего ей надобно – идти и выиграть для нее на рулетке.

«Полина захохотала:

- Вы мне в последний раз, на Шлангенберге, сказали, что готовы по первому моему слову броситься вниз головой, а там, кажется, до тысячи футов. Я когда-нибудь произнесу это слово единственно затем, чтоб посмотреть, как вы будете расплачиваться, и уж будьте уверены, что выдержу характер. Вы мне ненавистны, - именно тем, что я так много вам позволила, и еще ненавистнее тем, что так мне нужны. Но покамест вы мне нужны - мне надо вас беречь.

Она стала вставать. Она говорила с раздражением. В последнее время она всегда кончала со мною разговор со злобою и раздражением, с настоящею злобою.

- ...Слушайте и запомните: возьмите эти семьсот флоринов и ступайте играть, выиграйте мне на рулетке сколько можете больше; мне деньги во что бы ни стало теперь нужны»⁴².

Кажется, в отношении Алексея Ивановича к жизни только любовь к Полине и составляет тот твердый островок, на котором он удерживается среди бурлящего моря. Однако стоит ему случайно выиграть столько, чтобы оказаться объектом интереса со стороны авантюристки Бланш, то есть

⁴² Там же, с. 214.

вовлечься в новую «рулетку», как его любовь к Полине тот час же улетучивается. Уступив чарам француженки, которая ставит перед ним свою собственную цель – промотать в Париже выигранные им огромные деньги за месяц, в течение которого она обретет репутацию и знакомства (совершит «первую постановку себя в Париже»), а ему покажет «дневные звезды» - он без колебания включается в новую игру.

«...Я вошел к ней. Она валялась под розовым атласным одеялом, из-под которого выставлялись смуглые, здоровые, удивительные плечи, - плечи, которые разве только увидишь во сне, - кое-как прикрытые батистовую отороченную белейшими кружевами сорочкою, что удивительно шло к ее смуглой коже.

- Mon fils, as-tu du coeur?⁴³ - вскричала она, завидев меня, и захохотала. Смеялась она всегда очень весело и даже иногда искренно.

- Tout autre⁴⁴ ... - начал было я, парафразируя Корнеля.

- Вот видишь, vois-tu, - затараторила она вдруг, - во-первых, сыщи чулки, помоги обуться, а во-вторых, si tu n'es pas trop bete, je te prends a Paris⁴⁵. Ты знаешь, я сейчас еду.

- Сейчас?

- Через полчаса.

Действительно, все было уложено. Все чемоданы и ее вещи стояли готовые. Кофе был уже давно подан.

- Eh bien! хочешь, tu verras Paris. Dis donc qu'est ce que c'est qu'un outchitel? Tu etais bien bete, quand tu etais outchite⁴⁶. Где же мои чулки?

Обувай же меня, ну!

Она выставила действительно восхитительную ножку, смуглую, маленькую, неисковерканную, как все почти эти ножки, которые смотрят

⁴³ Сын мой, храбр ли ты? (франц.).

⁴⁴ Всякий другой...

⁴⁵ Если ты не будешь слишком глуп, я возьму тебя в Париж

⁴⁶ Ты увидишь Париж. Скажи-ка, что это такое учитель? Ты был очень глуп, когда ты был учителем.

такими миленькими в ботинках. Я засмеялся и начал натягивать на нее шелковый чулочек. M-lle Blanche между тем сидела на постели и тараторила.

- Eh bien, que feras-tu, si je te prends avec? Во-первых, je veux cinquante mille francs. Ты мне их отдашь во Франкфурте. Nous allons a Paris; там мы живем вместе et je te ferai voir des etoilles en plein jour⁴⁷. Ты увидишь таких женщин, каких ты никогда не видывал. Слушай...

- Постой, эдак я тебе отдам пятьдесят тысяч франков, а что же мне-то останется?

- Et cent cinquante mille francs⁴⁸, ты забыл, и, сверх того, я согласна жить на твоей квартире месяц, два, que sais-je!⁴⁹ Мы, конечно, проживем в два месяца эти сто пятьдесят тысяч франков. Видишь, je suis bonne enfant⁵⁰ и тебе вперед говорю, mais tu verras des etoiles.

- Как, все в два месяца?

- Как! Это тебя ужасает! Ah, vil esclave!⁵¹ Да знаешь ли ты, что один месяц этой жизни лучше всего твоего существования. Один месяц - et apres le deluge! Mais tu ne peux comprendre, va! Пошел, пошел, ты этого не стоишь! Ай, que fais-tu?⁵²

В эту минуту я обувал другую ножку, но не выдержал и поцеловал ее. Она вырвала и начала меня бить кончиком ноги по лицу. Наконец она прогнала меня совсем. "Eh bien, mon outchitel, je t'attends, si tu veux,⁵³ чрез четверть часа я еду!" - крикнула она мне вдогонку⁵⁴.

В Париже Алексей Иванович, как и при настоящей игре, ни на минуту не теряет голову, сознает, что эти три недели были сплошь «бред и дурачество», что он живет «в самой буржуазной, в самой меркантильной среде, где каждый су был рассчитан и вымерен». От этого ему постоянно «очень

⁴⁷ Ну что ты будешь делать, если я тебя возьму с собой? ...я хочу пятьдесят тысяч франков... Мы едем в Париж... и ты у меня увидишь звезды среди бела дня

⁴⁸ А сто пятьдесят тысяч франков

⁴⁹ Почему я знаю!

⁵⁰ Я добрая девочка

⁵¹ Но ты увидишь звезды

⁵² А, низкий раб!

⁵³ Ну, мой учитель, я тебя жду, если хочешь

⁵⁴ Там же, с. 302.

грустно и до крайности скучно» и потому он весьма часто стал прибегать к шампанскому. Тем не менее, другой жизни он не ищет и, очевидно, удовлетворяется сознанием «широты» своей русской природы в сравнении с жизнью буржуа. Он не допускает мысли о каком-либо морализаторстве со стороны кого бы то ни было и всерьез убежден, что если теперь, когда у него кончились деньги и он пребывает «в ничтожестве», его готовы учить морали, то коль скоро «колесо фортуны» повернется в другую сторону, все кардинально поменяется местами. Эти же самые «моралисты» «первые (я в этом уверен) придут с дружескими шутками поздравлять меня»,⁵⁵ поскольку дело в том, что всего лишь один оборот колеса - и все изменится. «Я завтра могу из мертвых воскреснуть и вновь начать жить! Человека могу обрести в себе, пока еще он не пропал!»⁵⁶ А в этом случае и Полина бы увидела, что герой «выше всех этих нелепых толчков судьбы...»

В героях Достоевского, пребывающих в разных видах нравственного падения, поразительна неуничтожимая ни при каких обстоятельствах вера, что, во-первых, они могут, стоит только захотеть, в любой момент свое падение прекратить, и, во-вторых, после этого могут в себе вновь «человека обрести». Как будто нет гадкого багажа, как будто недавнее прошлое моментально «отпустит» и человек вновь по одному слову делается нормальным.

Так же живет игрою, то есть строит свою жизнь в соответствии с «правилами» рулетки, хотя на ней и не играет, генерал. Нет за ним прошлых подвигов и завоеванного службой достоинства. Одни амбиции да неоплаченные долги авантюристу-маркизу, которые он намерен гасить последним заложенным имением, оставляя детей без средств к жизни. Он волочится за Бланш и одну за другой шлет в Россию телеграммы с вопросом «не умерла ли тетушка?», наследником которой он числится.

Да и генеральская тетушка, бабушка, как ее все зовут, приехав неожиданно в Рулетенбург, столь увлекается рулеткой, что в два дня проматывает свое

⁵⁵ Там же, с. 311.

⁵⁶ Там же.

немалое состояние. (Церковь из деревянной в каменную перестроить обещалась, да вместо того деньги-то на рулетке и профукала, итожит помещица). Поведение ее, при всей выказываемой автором симпатии к ней за ее «русскость» - это постоянная бравада, грубая определенность в оценках, даже некоторого рода смелость, в целом - поведение самовластной деспотической особы, не привыкшей ни с чем считаться, кроме своего «Я». Окружающих ее людей она сразу и однозначно делит на угодных и негодных. И хотя это деление практически совпадает с авторскими симпатиями, согласимся, что такого рода поведение далеко от стандартов культуры.

Роман «Игрок», может быть, помимо замысла автора, задает новый ракурс анализа русской жизни. Этот ракурс отличается от тех, которые избирают, например, Тургенев, Гончаров, Толстой или Салтыков-Щедрин. У Тургенева русские, наряду с прочими темами, рассматриваются вместе с тем в культурной связи с Западом. И даже тогда, когда напрямую этот фон не воспроизводится, все же выписанные автором ранее образы и стандарты в читательском поле зрения его удерживают. У Гончарова и Толстого больший акцент сделан на русскости в двух аспектах - как продолжении отечественных традиций, так и в контексте органической связи человека с природным миром. Изнутри отношений власти и, в частности, через призму действия бюрократической машины, в том числе – через последствия ее разрушающего влияния на человека, анализирует русский мир Салтыков-Щедрин. Иное у Достоевского.

Хотя действие романа и жизнь его героев протекает на Западе, западный мир и мир, который русские создают для себя и вокруг себя, миры не пересекающиеся, параллельные. В гостинице они живут, занимая отдельный этаж. Их круг (компания) – непроницаема для чужих, которые бы вдруг осмелились проявить склонность к сближению, исключая тех, кого они сами

назначили в нее принять. Их поведение иногда до того странно⁵⁷, что иностранцы смотрят на них как на нечто диковинное (точнее - дикое, некультуренное). Но еще более загадочен и непостижим для иностранцев русский культурно-духовный мир. Он, как показывает автор, во многом живет по законам мира рулетки – без рационально устанавливаемых и регулируемых правил, вне закона, по произволу сильнейших, пренебрегая слабыми. Ужас его в том, что все обитатели этого мира к нему привыкли, считают единственно возможным и истинным. Они даже, как начинает ощущаться у Достоевского уже в этом романе, по воле автора обосновывают и превозносят этот тип русскости, и даже его якобы более высокую ценность в сравнении с другими, иноземными способами жить. Далее эта идеология писателем будет развиваться и в конце концов станет одной из главных отличительных особенностей создаваемого им типа мировоззрения.

Но об этом позднее. А пока перейду к рассмотрению другого произведения Достоевского – написанного в 1861 году романа «Униженные и оскорбленные».

* * *

В связи с анализом творчества Н.Г. Чернышевского отмечалось, что намеченная ранее в русской литературе и философии линия на поиск для страны «новых людей», идущих по «своему пути», отличному от пути Запада, который некоторых отечественных мыслителей «разочаровал» и которому сулили скорую культурную смерть, линия эта в период начала либеральных реформ Александра II была продолжена. Россия шла к капитализму. Авторами, настроенными ортодоксально-православно (что, прежде всего, означало – агрессивно антикатолически и противополопротестантски), капиталистическое развитие России воспринималось

⁵⁷ Например, когда бабушка была внесена на своем кресле в парк возле гостиницы и на большом расстоянии, не обращая внимания на отдыхающих, начала громко окликать Алексея Ивановича или когда Алексей Иванович по сговору с Полиной неприличными словами задел прогуливающуюся немецкую чету.

как национальная катастрофа. Само собой, место Достоевского в этом движении было в первом ряду⁵⁸.

Суждение это в отношении Ф.М., высказываемое до того, как проведен мировоззренческий анализ основных его произведений и, прежде всего, - до рассмотрения его, как говорил известный историк литературы К.В. Мочульский, «пятиактной трагедии» - «Записок из подполья», «Преступления и наказания», «Идиота», «Бесов» и «Братьев Карамазовых», - можно было бы посчитать преждевременным⁵⁹. Однако в данном случае это необходимо, так в данном месте уместно адресоваться к авторитету В.С. Соловьева, который, оценивая творчество Достоевского, отмечал, что хотя в его произведениях противоречие между «лучшими идеалами» и «темным игом действительности» не было разрешено отречением от идеалов, вместе с тем неукоснительное следование идеалам не всегда выглядит убедительно. Так, «если мы согласны с Достоевским, что истинная сущность русского национального духа, его великое достоинство и преимущество состоит в том, что он может внутренне понимать все чужие элементы, любить их, перевоплощаться в них, если мы признаем русский народ вместе с Достоевским способным и призванным осуществить в братском союзе с прочими народами идеал всечеловечества – ты мы уже никак не можем сочувствовать выходкам того же Достоевского против «жидов», поляков, французов, немцев, против всей Европы, против всех чужих исповеданий». И далее: «Если русский национальный идеал действительно христианский (а в другом месте Соловьев уточняет: «превознесение идеи «православия» над

⁵⁸ В содержательном, прекрасно написанном романе мало известного в настоящее время в России, чудом выжившего при советской власти эсера С.Д. Мстиславского - теоретика и практика, есть прекрасная сцена случайной встречи одного из народовольцев с Ф.М. Достоевским. Разговаривая с молодым человеком, писатель поучает: «Железнодорожник и жид занимают место, которое по праву принадлежит только земледельцу. И в этом вся задача времени. А либерализм наш – шелудивый русский либерализм, напроповеданный г... вроде букашки навозной Белинского и прочих, а ныне усовершенствованный беложилетниками – кричит об увенчании здания». Мстиславский С. Партионцы. М., Советская литература, 1933, с. 134.

⁵⁹ Замечание о «пятиактности трагедии» мне кажется особенно важным в смысле рассмотрения ее – трагедии - основных мировоззренческих идей.

идею «христианства» и учением Христа» «чужды истинному духу русского христианского народа». – С.Н.), то он тем самым должен быть идеалом общественной правды и прогресса, т.е. практического осуществления христианства в мире».⁶⁰

И в продолжение этих мыслей, намечая задачи культурного развития на будущее, приведу наблюдение В.Г. Федотова, высказанное уже в 1929 году, то есть спустя почти семьдесят лет, что говорит о том, что сделанные Соловьевым пожелания то ли не были услышаны, то ли по каким-то причинам не реализовались и задача материализации русского национального идеала осталась не решенной. Проблему эту Федотов в одной из наиболее важных и глубоких своих статей «Будет ли существовать Россия?» сформулировал так: «Задача культурных работников, каждого русского в том, чтобы расширить свое русское сознание (без ущерба для его «русскости») в сознание российское. Это значит воскресить в нем в какой-то мере духовный облик всех народов России. ...Пусть каждый маленький народ, т.е. его интеллигенция, не только не чувствует унижения от соприкосновения с национальным сознанием русских (великоросса), но и находит у него помощь и содействие своему национально-культурному делу».⁶¹ Сделав эти предварительные замечания, перейду к текстам Ф.М.

Главный герой романа «Униженные и оскорбленные» - несомненно, не только второе «Я» Федора Михайловича, но и его представление об идеале человека, существующего в мире неправды и нищеты. Нужно отметить, что образ молодого писателя Ивана Петровича – первая масштабная попытка Ф.М. придать человеку «четвертое измерение» - вывести его как идеальный «проективный» тип. И хотя в дальнейшем такое занятие делается у Достоевского в его литературном творчестве одним из любимых, о первом опыте, хотя и не слишком удачном, нужно сказать особо.

⁶⁰ Соловьев В.С. Русский национальный идеал. В кн.: Соловьев В.С. Сочинения в двух томах. М., Правда, 1989. Т. 2, сс. 290, 293.

⁶¹ Федотов Г.П. Собрание сочинений в двенадцати томах. М., «Мартис» SAM & SAM, 1998. Т. 2, с. 137.

События этого мелодраматического романа – непрерывно развивающаяся катастрофа, конец которой, кажется, наступает только со смертью. Так и происходит в отношении одной из героинь – внебрачной малолетней дочери негодяя-князя. Но остаются жертвы нравственного катаклизма, изуродованные событиями «калеки» - брошенный невестой герой - молодой писатель, потерявшие имение и вынужденные на старости лет искать на чужбине заработок для прокормления старики Ихменевы, их дочь Наташа.

Иван Петрович, посредством которого автор и ведет повествование, все время оказывается если не центром, то активным участником происходящего. Тематика событий – душераздирающая. Это и безумная любовь, ради которой оставляются родители. В одном случае возлюбленный вероломно крадет деньги у невесты (которая, в свою очередь, ради него, похитила деньги у отца), а затем бросает ее, беременную и пребывающую на чужбине. Ограбленный и ставший нищим отец не прощает дочь до самой ее смерти. А после ее кончины умирает и сам.

В другом случае родители Наташи старики Ихменевы, оставленные дочерью ради ее возлюбленного Алеши, не перестают жить надеждой на ее возвращение, при том, что Алеша находит другую девушку, а Наташа это ему прощает и, более того, благословляет на новую любовь.

В романе присутствует и олицетворение зла – князь Валковский, который ставит перед собой и неуклонно достигает все новых целей, перешагивая через униженных и оскорбленных, доводя свои жертвы до смерти. Но зато подросток-девочка Елена-Нелли, чья мать ограбила отца и умерла, и которая, кажется, умеет только ненавидеть, в конце концов усилиями неутомимого милосердия и любви, проявленными Иваном Петровичем, а затем и остальными униженными и обиженными перед смертью вновь обретает способность любить.

Как бы постоянно держится в центре, но на самом деле все время выступает не более как фоном сын негодяя-князя – органический эгоист

Алеша, ради которого Наташа сперва перестает любить Ивана Петровича, а затем и оставляет отчий дом. В чем причина страсти Наташи к этому недалекому, себялюбивому до бессознательности и постоянно причиняющему другим людям страдания человеку, Достоевский так и не объясняет. Однако первый опыт создания идеального героя в образе Ивана Петровича как одной из задач писательского творчества, которую формулировал для себя Достоевский, в романе состоялся.

Критика по-разному отнеслась к этому произведению. Однако поскольку оно не кажется мне значительным в плане рассмотрения тематики русского мировоззрения, подробно на нем я останавливаться не буду и приведу лишь мнение Н.А. Добролюбова, смысл которого сводится к тому, что автор, столь успешно дебютировавший романом «Бедные люди», на этот раз обнаружил отсутствие художественного таланта: «...бедность и неопределенность образов, эта необходимость повторять самого себя, это неумение обработать каждый характер даже настолько, чтобы хоть сообщить ему соответственный способ внешнего выражения, - все это, обнаруживая, с одной стороны, недостаток разнообразия в запасе наблюдений автора, с другой стороны, прямо говорит против художественной полноты и цельности его созданий...»⁶² Вывод критика следующий: новый роман Достоевского стоит «ниже эстетических требований».

В этой связи уместно и справедливо привести и мнение самого автора, высказанное через несколько лет после его публикации. В нем Ф.М., во-первых, определяет жанр произведения как роман-фельетон, то есть печатающуюся в ежедневной газете из номера в номер историю с продолжением и, кроме того, рассчитанную на непритязательную публику. И, во-вторых, дает ему следующую оценку: «Совершенно сознаюсь, что в моем романе выставлено много кукол, а не людей, что в нем ходячие книжки, а не лица, принявшие художественную форму... В то время, как я писал, я, разумеется, в жару работы этого не сознавал, а только разве

⁶² Добролюбов Н.А. Собрание сочинений в 9 томах. М. – Л., 1963, т.7, с. 239.

предчувствовал... Вышло произведение дикое, но в нем есть с полсотни страниц, которыми я горжусь»⁶³.

Присоединяясь к этим суждениям, хотел бы обратить внимание и на то, что начинать рассмотрение текстов Ф.М. Достоевского в данном исследовании в строго хронологической последовательности означало бы, наряду с прочим, ставить рассмотрение «Униженных и оскорбленных» (1861) ранее «Игрока» (1866). Однако «Игрок», несомненно, более важен не только с точки зрения художественности, но прежде всего именно в мировоззренческом отношении и, кроме того, как роман автобиографический, который дает известное представление об одной из существенных сторон личности самого автора. Последнее, согласимся, важно для понимания его творчества в целом.

* * *

Наряду с «Игроком», повесть «Записки из подполья» (1864) и, к тому же, как первую часть «пятиактной трагедии», в известном смысле тоже можно считать автобиографической. Но если в «Игроке» Ф.М. говорит о части своей «внешней» биографии, через нее раскрывая личные переживания и движение мыслей, то в «Записках» внешнее – по большому счету не существенно и только иногда создает предлоги для раскрытия внутренних движений сознания. Признать и эту повесть автобиографической мне представляется допустимым с той лишь поправкой, что сами внешние движения и поступки героя не стоит рассматривать как имеющие отношение к жизни ее автора. Но вот то, что переживает герой, до чего додумывается, как рассуждает – автобиографично в том смысле, что придумано или извлечено из глубин собственного сознания человеком по имени Ф.М. Достоевский и несомненно, что до него такое содержание в своем сознании никто из известных писателей в таком объеме и глубине не обнаруживал, а если и обнаруживал, то «до конца» не извлекал.

⁶³ Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений в тридцати томах. Л., Наука, 1973. Т. 3, сс. 531 - 532.

Термином «подпольный» человек Ф.М. принимает и утверждает собственное самоназвание, фиксирует свое отношение к миру, положение в нем. Без этого он никогда не сумел бы в столь детальных подробностях представить читателю сознание своих «подпольных» героев. Он писал: «Только я один вывел трагизм подполья, состоящий в страдании, в самоказни, в сознании лучшего и в невозможности достичь его и, главное, в ярком убеждении этих несчастных, что и все таковы, а стало быть, не стоит и исправляться!»⁶⁴

Говоря о «подполье» как глубинах сознания, а, возможно, и подсознания, я тем самым вступаю в противоречие с той имеющейся в отечественном литературоведении традицией, согласно которой герой «подполья» - «это «книжник», «мечтатель», «лишний человек», утративший связь с народом и осужденный за это автором-шестидесятником, стоящим на «почвеннических» позициях. ...Создавая «подпольного» героя, Достоевский имел ввиду показать самосознание представителей одной из разновидностей «лишних людей» в новых исторических условиях».⁶⁵ И еще, со ссылкой на литературоведа А.П. Скафтымова: «...Герой подполья воплощает в себе конечные результаты «оторванности от почвы», как она рисовалась Достоевскому».⁶⁶

Так же встречаются определения, которые удивляют непониманием содержательных линий развития русской классики. Так, соглашаясь с позицией, согласно которой «подпольный» человек – инобытие человека «лишнего», литературовед В.А. Кашина итожит: «В литературу за Онегиным и Печориным пришел Обломов и, наконец, *имеющие ту же природу* (?! – С.Н.) «подпольные» люди Достоевского».⁶⁷

⁶⁴ Там же, т. 16, с. 329.

⁶⁵ Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений в тридцати томах. Л., Наука, 1973. Т. 5. Примечания, с. 376.

⁶⁶ Там же, с. 378.

⁶⁷ Кашина В.А. Человек в творчестве Ф.М. Достоевского. М., Художественная литература, 1986, с. 198.

Определения эти мне представляются «внешними», сделанными в связи с признанными в литературоведении штампами типа «лишних людей», не затрагивающими существа дела. На самом деле «подпольность» свойство и качество намного более глубокое, о чем я и буду говорить далее.

«Записки из подполья», которые вначале симптоматично и точно именовались «Исповедь», имели в литературе конкретный предмет для своего обращения и к нему повесть, по крайней мере, в своей первой части («Подполье») впрямую адресуется. Этим предметом, по общему признанию историков и критиков литературы, было вышедшее годом ранее творение Чернышевского «Что делать?»⁶⁸.

Конечно, аналогии между романом Чернышевского и некоторыми произведениями Достоевского просматриваются не только здесь. Так, в рассказе «Крокодил» (1865), как и в «Записках», главный герой чиновник также размещается автором вне божьего мира. Как помним, попав внутрь крокодила, он начинает общаться с окружающей действительностью из этого органического «подполья» так же, как общаются с миром и герои Чернышевского: посредством теорий, проектов «справедливо устроенных» мастерских, просто снов. Да и по содержанию излагаемые «теории» не

⁶⁸ Идеино-тематическое «пересечение» Чернышевского и Достоевского в их произведениях уже имело место ранее. Вспомним о «любовных треугольниках» героев «Что делать?» - реально обсуждавшегося треугольника «Вера – Лопухин – Кирсанов» и гипотетического треугольника героев «Униженных и оскорбленных» - «Наташа - Иван Петрович – Алеша». Однако в этих предметах более всего интересно не их художественное разрешение, а позиция их творцов – авторов. А поскольку на эту коллизию обратил внимание известный литературовед В.А. Туниманов, то ему и слово. «С точки зрения Чернышевского и Рахметова, такой мирный союз (Жизнь втроем. – С.Н.) был бы наилучшим разрешением проблемы, но он является вызовом лицемерному (Так у автора. – С.Н.) обществу и ветхозаветной морали, которая еще имеет власть над разумными эгоистами, сравнительно недавно распроставшимися с «подвалом» и духовно еще не до конца свободными. Идеальный союз, как явствует из одного интереснейшего замысла Чернышевского, возможен лишь на необитаемом острове, а не в современном обществе. По Достоевскому, такое гармоническое общество вообще немислимо, ибо противоречит вечным законам человеческой природы; оно возможно не для эгоистического современного человека, а для существа неземного, бесполого, чуждого ревности и сладострастия». Туниманов В.А. Творчество Достоевского. 1854 – 1862. Л., Наука, 1980, с. 266. Чья точка зрения и связанные с нею мировоззренческие пласты ближе к действительности – конструктора «светлого будущего» или певца «подполья» - судить читателю.

слишком отличны. Вот как формулирует из чрева крокодила свою реформаторскую программу герой рассказа Иван Матвеевич.

« - ...Завтра соберется целая ярмарка. Таким образом, надо полагать, что все образованнейшие люди столицы, дамы высшего общества, иноземные посланники, юристы и прочие здесь перебиваются. Мало того: станут наезжать из многосторонних провинций нашей обширной и любопытной империи. В результате - я у всех на виду, и хоть спрятанный, но первенствую. Стану поучать праздную толпу. Наученный опытом, представлю из себя пример величия и смирения перед судьбою! Буду, так сказать, кафедрой, с которой начну поучать человечество. Даже одни естественнонаучные сведения, которые могу сообщить об обитаемом мною чудовище, - драгоценны. И потому не только не ропщу на давешний случай, но твердо надеюсь на блистательнейшую из карьер.

- Не наскучило бы? - заметил я ядовито.

Всего более обозлило меня то, что он почти уже совсем перестал употреблять личные местоимения - до того заважничал. Тем не менее все это меня сбilo с толку. "С чего, с чего эта легкомысленная башка куражится! - скрежетал я шепотом про себя. - Тут надо плакать, а не куражиться".

- Нет! - отвечал он резко на мое замечание, - ибо весь проникнут великими идеями, только теперь могу на досуге мечтать об улучшении судьбы всего человечества. Из крокодила выйдет теперь правда и свет. Несомненно изобрету новую собственную теорию новых экономических отношений и буду гордиться ею - чего доселе не мог за недосугом по службе и в пошлых развлечениях света. Опровергну все и буду новый Фурье.

...Полагаю, что хозяин согласится иногда приносить и меня, вместе с крокодилем, в блестящий салон жены моей. Я буду стоять в ящике среди великолепной гостиной и буду сыпать остротами, которые подберу еще с утра. Государственному мужу сообщу мои проекты; с поэтом буду говорить в рифму; с дамами буду забавен и нравственно-мил, - так как вполне безопасен для их супругов. Всем остальным буду служить примером

покорности судьбе и воле провидения. Жену сделаю блестящею литературною дамою;

...Подобно тому как надувают геморроидальную подушку, так и я надуваю теперь собой крокодила. Он растяжим до невероятности. Даже ты, в качестве домашнего друга, мог бы поместиться со мной рядом, если б обладал великодушием, и даже с тобой еще достало бы места. Я даже думаю в крайнем случае выписать сюда Елену Ивановну.

...Я изобрету теперь целую социальную систему, и - ты не поверишь - как это легко! Стоит только уединиться куда-нибудь подальше в угол или хоть попасть в крокодила, закрыть глаза, и тотчас же изобретешь целый рай для всего человечества. Давеча, как вы ушли, я тотчас же принялся изобретать и изобрел уже три системы, теперь изготавливаю четвертую. Правда, сначала надо все опровергнуть; но из крокодила так легко опровергать; мало того, из крокодила как будто это виднее становится...»⁶⁹.

Как мы помним, автор теории «разумного эгоизма» был всерьез убежден в том, что разнообразные беды человечества, равно как и далекие от благости отношения людей имеют причиной незнание и непонимание ими своей выгоды от следования принципам справедливости и добра. И говорилось это на фоне обещанного в снах Веры Павловны хрустального дворца и счастливых людей-муравьев, спаянных в едином прагматичном и целесообразном движении-действии на благо общего дома-муравейника. Точно так же герой «Крокодила» жаждет просвещения для человечества, мечтает изобрести спасительную экономическую теорию и в своей похожести на героев Н.Г.Ч. доходит до прямой аналогии с ними, в частности – в предположении жизни втроем внутри крокодилова чрева, исходя при этом из целесообразности, равно как и Лопехин, делая похожее предложение Вере Павловне прежде всего так же был озабочен практической стороной жизни.

⁶⁹ Там же, сс. 194 - 197.

Далее, как бы продолжая полемику с Чернышевским, Достоевский предлагает послушать героя «подполья», которое, очевидно, и в эпоху хрустальных дворцов не исчезнет. Вот что говорит «подпольный» человек.

«О, скажите, кто это первый объявил, кто первый провозгласил, что человек потому только делает пакости, что не знает настоящих своих интересов; а что если б его просветить, открыть ему глаза на его настоящие, нормальные интересы, то человек тотчас же перестал бы делать пакости, тотчас же стал бы добрым и благородным, потому что, будучи просвещенным и понимая настоящие свои выгоды, именно увидел бы в добре собственную свою выгоду, а известно, что ни один человек не может действовать зазнамо против собственных своих выгод, следовательно, так сказать, по необходимости стал бы делать добро? О младенец! о чистое, невинное дитя! да когда же, во-первых, бывало, во все эти тысячелетия, чтоб человек действовал только из одной своей собственной выгоды? Что же делать с миллионами фактов, свидетельствующих о том, как люди зазнамо, то есть вполне понимая свои настоящие выгоды, отставляли их на второй план и бросались на другую дорогу, на риск, на авось, никем и ничем не принуждаемые к тому, а как будто именно только не желая указанной дороги, и упрямо, своевольно пробивали другую, трудную, нелепую, отыскивая ее чуть не в потемках. Ведь, значит, им действительно это упрямство и своеволие было приятнее всякой выгоды... Выгода! Что такое выгода? Да и берете ли вы на себя совершенно точно определить, в чем именно человеческая выгода состоит? А что если так случится, что человеческая выгода иной раз не только может, но даже и должна именно в том состоять, чтоб в ином случае себе худого пожелать, а не выгодного? А если так, если только может быть этот случай, то все правило прахом пошло. Как вы думаете, бывает ли такой случай? Вы смеетесь; смейтесь, господа, но только отвечайте: совершенно ли верно сосчитаны выгоды человеческие? Нет ли таких, которые не только не уложились, но и не могут уложиться ни в какую классификацию? Ведь вы, господа, сколько мне известно, весь ваш

реестр человеческих выгод взяли средним числом из статистических цифр и из научно-экономических формул. Ведь ваши выгоды - это благоденствие, богатство, свобода, покой, ну и так далее, и так далее; так что человек, который бы, например, явно и зазнамо вошел против всего этого реестра, был бы, по-вашему, ну да и, конечно, по-моему, обскурант или совсем сумасшедший, так ли? Но ведь вот что удивительно: отчего это так происходит, что все эти статистики, мудрецы и любители рода человеческого, при исчислении человеческих выгод, постоянно одну выгоду пропускают? Даже и в расчет ее не берут в том виде, в каком ее следует брать, а от этого и весь расчет зависит. Беда бы не велика, взять бы ее, эту выгоду, да и занести в список. Но в том-то и пагуба, что эта мудреная выгода ни в какую классификацию не попадает, ни в один список не умещается.

У меня, например, есть приятель... Эх, господа! да ведь и вам он приятель; да и кому, кому он не приятель! Приготовляясь к делу, этот господин тотчас же изложит вам, велеречиво и ясно, как именно надо ему поступить по законам рассудка и истины. Мало того: с волнением и страстью будет говорить вам о настоящих, нормальных человеческих интересах; с насмешкой укорит близоруких глупцов, не понимающих ни своих выгод, ни настоящего значения добродетели; и - ровно через четверть часа, без всякого внезапного, постороннего повода, а именно по чему-то такому внутреннему, что сильнее всех его интересов, - выкинет совершенно другое колено, то есть явно пойдет против того, об чем сам говорил: и против законов рассудка, и против собственной выгоды, ну, одним словом, против всего... Предупрежду, что мой приятель - лицо собирательное, и потому только его одного винить как-то трудно. То-то и есть, господа, не существует ли и в самом деле нечто такое, что почти всякому человеку дороже самых лучших его выгод, или (чтоб уж логики не нарушать) есть одна такая самая выгодная выгода (именно пропускаемая-то, вот об которой сейчас говорили), которая главнее и выгоднее всех других выгод и для которой человек, если понадобится, готов против всех законов пойти, то есть против

рассудка, чести, покоя, благоденствия, - одним словом, против всех этих прекрасных и полезных вещей, лишь бы только достигнуть этой первоначальной, самой выгодной выгоды, которая ему дороже всего.

...Но прежде чем я вам назову эту выгоду, я хочу себя компрометировать лично и потому дерзко объявляю, что все эти прекрасные системы, все эти теории разъяснения человечеству настоящих, нормальных его интересов с тем, чтоб оно, необходимо стремясь достигнуть этих интересов, стало бы тотчас же добрым и благородным, покамест, по моему мнению, одна логистика! Да-с, логистика! Ведь утверждать хоть эту теорию обновления всего рода человеческого посредством системы его собственных выгод, ведь это, по-моему, почти то же ...ну хоть утверждать, например, вслед за Боклем, что от цивилизации человек смягчается, следственно, становится менее кровожаден и менее способен к войне. По логике-то, кажется у него и так выходит. Но до того человек пристрастен к системе и к отвлеченному выводу, что готов умышленно исказить правду, готов видом не видеть и слыхом не слыхать, только чтоб оправдать свою логику. Потому и беру этот пример, что это слишком яркий пример. Да оглянитесь кругом: кровь рекою льется, да еще развеселым таким образом, точно шампанское. Вот вам все наше девятнадцатое столетие, в котором жил и Бокль. Вот вам Наполеон - и великий, и теперешний. Вот вам Северная Америка - вековечный союз. Вот вам, наконец, карикатурный Шлезвиг-Гольштейн... И что такое смягчает в нас цивилизация? Цивилизация вырабатывает в человеке только многосторонность ощущений и... решительно ничего больше. А через развитие этой многосторонности человек еще, пожалуй, дойдет до того, что отыщет в крови наслаждение. Ведь это уж и случилось с ним. Замечали ли вы, что самые утонченные кровопроливцы почти сплошь были самые цивилизованные господа, которым все эти разные Атиллы да Стеньки Разины иной раз в подметки не годились, и если они не так ярко бросаются в глаза, как Атилла и Стенька Разин, так это именно потому, что они слишком часто встречаются, слишком обыкновенны, примелькались.

По крайней мере, от цивилизации человек стал если не более кровожаден, то уже, наверно, хуже, гаже кровожаден, чем прежде. Прежде он видел в кровопролитии справедливость и с покойною совестью истреблял кого следовало; теперь же мы хоть и считаем кровопролитие гадостью, а все-таки этой гадостью занимаемся, да еще больше, чем прежде. Что хуже? - сами решите. Говорят, Клеопатра (извините за пример из римской истории) любила втыкать золотые булавки в груди своих невольниц и находила наслаждение в их криках и корчах. Вы скажете, что это было во времена, говоря относительно, варварские; что и теперь времена варварские, потому что (тоже говоря относительно) и теперь булавки втыкаются; что и теперь человек хоть и научился иногда видеть яснее, чем во времена варварские, но еще далеко не приучился поступать так, как ему разум и науки указывают. Но все-таки вы совершенно уверены, что он непременно приучится, когда совсем пройдут кой-какие старые, дурные привычки и когда здравый смысл и наука вполне перевоспитают и нормально направят натуру человеческую. Вы уверены, что тогда человек и сам перестанет добровольно ошибаться и, так сказать, поневоле не захочет роднить свою волю с нормальными своими интересами. Мало того: тогда, говорите вы, сама наука научит человека (хоть это уж и роскошь, по-моему), что ни воли, ни каприза на самом-то деле у него и нет, да и никогда не бывало, а что он сам не более, как нечто вроде фортепьянной клавиши или органного штифтика; и что, сверх того, на свете есть еще законы природы; так что все, что он ни делает, делается вовсе не по его хотенью, а само собою, по законам природы. Следственно, эти законы природы стоит только открыть, и уж за поступки свои человек отвечать не будет и жить ему будет чрезвычайно легко. Все поступки человеческие, само собою, будут расчислены тогда по этим законам, математически, вроде таблицы логарифмов, до 108000, и занесены в календарь...

Тогда-то, - это все вы говорите, - настанут новые экономические отношения, совсем уж готовые и тоже вычисленные с математическою

точностью, так что в один миг исчезнут всевозможные вопросы, собственно потому, что на них получатся всевозможные ответы. Тогда выстроится хрустальный дворец. Тогда... Ну, одним словом, тогда прилетит птица Каган. Конечно, никак нельзя гарантировать (это уж я теперь говорю), что тогда не будет, например, ужасно скучно (потому что что ж и делать-то, когда все будет расчислено по табличке), зато все будет чрезвычайно благоразумно. Конечно, от скуки чего не выдумаешь! Ведь и золотые булавки от скуки втыкаются, но это бы все ничего. Скверно то (это опять-таки я говорю), что чего доброго, пожалуй, и золотым булавкам тогда обрадуются. Ведь глуп человек, глуп феноменально. То есть он хоть и вовсе не глуп, но уж зато неблагодарен так, что поискать другого, так не найти. Ведь я, например, нисколько не удивлюсь, если вдруг ни с того ни с сего среди всеобщего будущего благоразумия возникнет какой-нибудь джентльмен с неблагородной или, лучше сказать, с ретроградной и насмешливой физиономией, упрет руки в боки и скажет нам всем: а что, господа, не столкнуть ли нам все это благоразумие с одного разу, ногой, прахом, единственно с тою целью, чтоб все эти логарифмы отправились к черту и чтоб нам опять по своей глупой воле пожить! Это бы еще ничего, но обидно то, что ведь непременно последователей найдет: так человек устроен. И все это от самой пустейшей причины, об которой бы, кажется, и упоминать не стоит: именно оттого, что человек, всегда и везде, кто бы он ни был, любил действовать так, как хотел, а вовсе не так, как повелевали ему разум и выгода; хотеть же можно и против собственной выгоды, а иногда и положительно должно (это уж моя идея). Свое собственное, вольное и свободное хотенье, свой собственный, хотя бы самый дикий каприз, своя фантазия, раздраженная иногда хоть бы даже до сумасшествия, - вот это-то все и есть та самая, пропущенная, самая выгодная выгода, которая ни под какую классификацию не подходит и от которой все системы и теории постоянно разлетаются к черту. И с чего это взяли все эти мудрецы, что человеку надо какого-то нормального, какого-то добродетельного хотения? С

чего это непременно вообразили они, что человеку надо непременно благоразумно выгодного хотенья? Человеку надо – одного только самостоятельного хотенья, чего бы эта самостоятельность ни стоила и к чему бы ни привела. Ну и хотенье ведь черт знает...»⁷⁰

Я привел столь длинную цитату из повести не только для того, чтобы указать на существо возражений Достоевского по поводу идей Чернышевского. Размышления эти интересны и в другом отношении - с точки зрения только что рассматривавшейся в связи с романом «Игрок» идеи о возможности отношения к жизни как к игре, о глубинном желании человека, постоянно вынужденного «соизмеряться с обстоятельствами», в чем-то смиряться и не жить «по воле», но все же – о, сладость! - иметь возможность иногда «показать судьбе язык».

Следует отметить, что в таком ракурсе вопрос о «полемике» между Н.Г. и Ф.М. в литературоведении не ставился. Более того: само обоснование того, почему такая полемика ни исследовалась, получает объяснение, хотя и довольно странное. Вновь слово В.А. Туниманову. «Чернышевский – романист не вступает в полемику с Достоевским. Просто у него другие художественные и пропагандистские цели, требующие создания оригинального, нового универсума: одновременно типической и образцовой модели нового жизнеустройства. В полемику с автором «Что делать?» вступает Достоевский, но это уже особая и весьма сложная проблема, которая не стала яснее и после многочисленных попыток понять смысл и объяснить интенсивность идейного спора Достоевского с Чернышевским»⁷¹. И далее: бунт Парадоксалиста (героя «Записок из подполья») был борьбой «Достоевского главным образом с идеями революционных демократов и, естественно, с их вождями (или «богами») – Чернышевским и Добролюбовым».⁷²

⁷⁰ Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений в тридцати томах. Л., Наука, 1973. Т. 5, сс. 110 - 113.

⁷¹ Туниманов В.А. Цит. соч., с. 269.

⁷² Там же, с. 283.

Констатация факта, что в спор вступает именно Достоевский, что спорил он с революционными демократами и что смысл спора так и остался невыясненным – свидетельство, которым не следует пренебрегать. Кроме того: если Ф.М. в спор все же вступил, то, значит, посчитал его важным. В чем же? Вот в этом я и попытаюсь разобраться.

Затеянный с Чернышевским спор Достоевский не ведет напрямую и не переводит в публицистику. Ф.М. сдвигает его в сугубо художественную плоскость, рисуя образ «человека из подполья» не только изнутри, через его размышления, как это дано в первой части «Записок», но и через мысли, реализуемые в поступки. (Именно этот технологический ход «от размышления - к поступку» герой несколько раз реализует, акцентируя и как бы давая читателю знать, что он делает именно это и, главное, делает сознательно и глубоко обдуманно). Остановимся на второй части повести, озаглавленной «По поводу мокрого снега», имея ввиду незримый идейный спор с творцом «справедливых мастерских» и «хрустальных дворцов».

Во-первых, «подпольный» человек без обиняков отклоняет нечто позитивное, что можно было бы принять на Западе. Он заявляет: «У нас, русских, вообще говоря, никогда не было глупых надзвездных немецких и особенно французских романтиков, на которых ничего не действует, хоть земля под ними трещи, хоть погибай вся Франция на баррикадах, - они все те же, даже для приличия не изменятся, и все будут петь свои надзвездные песни, так сказать, по гроб своей жизни, потому что они дураки. (То есть, невзирая на обстоятельства, останутся верны своим принципам, так надо полагать. – С.Н.). У нас же, в русской земле, нет дураков; это известно; тем-то мы и отличаемся от прочих немецких земель. Следственно, и надзвездных натур не водится у нас в чистом их состоянии. Это все наши "положительные" тогдашние публицисты и критики, охотясь тогда за Костанжоглами да за дядюшками Петрами Ивановичами⁷³ сдуру приняв их за

⁷³ Вот и мы для себя через сто пятьдесят лет привет получили: я говорю о проблематике «позитивного дела», о которой шла речь во втором томе исследования «Русское мировоззрение» и одними из героев которой были в том числе Костанжогло и Петр

наш идеал, навыдумали на наших романтиков, сочтя их за таких же надзвездных, как в Германии или во Франции. Напротив, свойства нашего романтика совершенно и прямо противоположны надзвездно-европейскому, и ни одна европейская мерочка сюда не подходит».

Наши «широкие натуры» «даже при самом последнем падении никогда не теряют своего идеала; и хоть и пальцем не пошевелят для идеала-то, хоть разбойники и воры отъявленные, а все-таки до слез свой первоначальный идеал уважают и необыкновенно в душе честны. Да-с, только между нами самый отъявленный подлец может быть совершенно и даже возвышенно честен в душе, в то же время нисколько не переставая быть подлецом. Повторяю, ведь сплошь да рядом из наших романтиков выходят иногда такие деловые шельмы (слово "шельмы" я употребляю любя), такое чутье действительности и знание положительного вдруг оказывают, что изумленное начальство и публика только языком на них в остолбенении пощелкивают.

Многосторонность поистине изумительная, и бог знает во что обратится она и выработается при последующих обстоятельствах и что сулит нам в нашем дальнейшем? А недурен матерьял-с! Не из патриотизма какого-нибудь, смешного или квасного, я так говорю»⁷⁴.

Обобщающая характеристика так называемых «русских романтиков», то есть тех, кто делает подлости, унижает и эксплуатирует близких и дальних, вообще – творит зло, но при этом в так называемой душе якобы сохраняет «прекрасное и высокое» - это, пожалуй, в то же время и портрет «человека из подполья». И пусть «человек из подполья» мелок. Дело не в масштабе. Ведь неважно, что он на поприще не преуспел и в нищете живет. Важно, что он

Иванович. Напомню, что Костанжогло – из «правильных» помещиков, которого разыскал гоголевский Чичиков, а Петр Иванович – дядя Александра Адуева из «Обыкновенной истории» Гончарова.

⁷⁴ Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений в тридцати томах. Л., Наука, 1973. Т. 5, сс. 126 - 127.

так же подло думает и так же подло поступает, как только получает к тому возможность.

Не буду говорить о его ущемленном самолюбии в знаменитом случае с офицером, который им публично пренебрег (будучи десяти вершков роста, взял и отставил со своего пути), а «подпольный» четыре года мщение готовил. И не важно, как он в мечтах воспарял, а вот посмотрим, как действовать начал.

Начало – история со школьными товарищами. Не любили они его, а он их. Презирали друг друга. Так нет же! Однажды, не выдержав одиночества, подпольный герой отправляется к одному из них и застаёт разом всю компанию, которая договаривается об устройстве прощального обеда для приятеля, отбывающего на Кавказ абреков стрелять и черкешенок соблазнять. Неприязненно встретили они гостя, а он, тем не менее, на их обед напросился. Вот разговор:

«- Что ж, коль по семи рублей, - заговорил Трудолобов, - нас трое, двадцать один рупь, - можно хорошо пообедать. Зверков, конечно, не платит.

- Уж разумеется, коль мы же его приглашаем, - решил Симонов.

- Неужели ж вы думаете, - заносчиво и с пылкостью ввязался Ферфичкин, точно нахал лакей, хвастающий звездами своего генерала барина, - неужели вы думаете, что Зверков нас пустит одних платить? Из деликатности примет, но зато от себя полдюжины выставит.

- Ну, куда нам четверым полдюжины, - заметил Трудолобов, обратив внимание только на полдюжину.

- Так, трое, с Зверковым четверо, двадцать один рубль в Hotel de Paris, завтра в пять часов, - окончательно заключил Симонов, которого выбрали распорядителем.

- Как же двадцать один? - сказал я в некотором волнении, даже, по-видимому, обидевшись, - если считать со мной, так будет не двадцать один, а двадцать восемь рублей.

Мне показалось, что вдруг и так неожиданно предложить себя будет даже очень красиво, и они все будут разом побеждены и посмотрят на меня с уважением.

- Разве вы тоже хотите? - с неудовольствием заметил Симонов, как-то избегая глядеть на меня. Он знал меня наизусть.

Меня взбесило, что он знает меня наизусть.

- Почему же-с? Я ведь, кажется, тоже товарищ, и, признаюсь, мне даже обидно, что меня обошли, - заклокотал было я опять.

- А где вас было искать? - грубо ввязался Ферфичкин.

- Вы всегда были не в ладах с Зверковым, - прибавил Трудолюбов нахмурившись. Но я уж ухватился и не выпускал.

- Мне кажется, об этом никто не вправе судить, - возразил я с дрожью в голосе, точно и бог знает что случилось. - Именно потому-то я, может быть, теперь и хочу, что прежде был не в ладах.

- Ну, кто вас поймет... возвышенности-то эти... - усмехнулся Трудолюбов.

- Вас запишут, - решил, обращаясь ко мне, Симонов, - завтра в пять часов, в Hotel de Paris; не ошибитесь.

- Деньги-то! - начал было Ферфичкин вполголоса, кивая на меня Симонову, но осекся, потому что даже Симонов сконфузился.

- Довольно, - сказал Трудолюбов, вставая. - Если ему так уж очень захотелось, пусть придет.

- Да ведь у нас кружок свой, приятельский, - злился Ферфичкин, тоже берясь за шляпу. - Это не официальное собрание. Мы вас, может быть, и совсем не хотим...

Они ушли; Ферфичкин, уходя, мне совсем не поклонился, Трудолюбов едва кивнул, не глядя. Симонов, с которым я остался с глазу на глаз, был в каком-то досадливом недоумении и странно посмотрел на меня. Он не садился и меня не приглашал.

- Гм... да... так завтра. Деньги-то вы отдадите теперь? Я это, чтоб верно знать, - пробормотал он сконфузившись.

Я вспыхнул, но, вспыхивая, вспомнил, что с незапамятных времен должен был Симонову пятнадцать рублей, чего, впрочем, и не забывал никогда, но и не отдавал никогда.

- Согласитесь сами, Симонов, что я не мог знать, входя сюда... и мне очень досадно, что я забыл...

- Хорошо, хорошо, все равно. Расплатитесь завтра за обедом. Я ведь только, чтоб знать...»⁷⁵

Что движет героем «подполья»? Не простой вопрос. Но подход к его разрешению, на мой взгляд, уже был намечен в «Игроке». Учитель надеялся с помощью игры решить все проблемы сразу, махом. (Напомню его рассуждения о том, что эти же самые «моралисты» «первые (я в этом уверен) придут с дружескими шутками поздравлять меня», поскольку дело в том, что всего лишь один оборот колеса - и все изменится. «Я завтра могу из мертвых воскреснуть и вновь начать жить! Человека могу обрести в себе...»⁷⁶)

Так же и «подпольный». В «Записках» звучит та же ключевая фраза: «Мне показалось, что вдруг и так неожиданно предложить себя будет даже очень красиво, и они все будут разом побеждены и посмотрят на меня с уважением». Разница лишь в том, что вместо рулетки – три человека, три сознания «школьных товарищей» и шарик-слово «на удачу» запускается в их круг. А вдруг выигрыш?

И далее – вновь та же схема игры: «ни на чем не основанная уверенность – разочарование – новая уверенность». Вверх – вниз – снова вверх – кубарем вниз. «Американские горки». Вот отрывки из мятущегося сознания «подпольного игрока»:

«- Ведь дернуло же, дернуло же выскочить! - скрежетал я зубами, шагая по улице, - и этакому подлецу, поросенку, Зверкову! Разумеется, не надо

⁷⁵ Там же, сс. 137 – 138.

⁷⁶ Там же, с. 311.

ехать; разумеется, наплевать: что я, связан, что ли? Завтра же уведомлю Симонова по городской почте...

Но потому-то я и бесился, что наверно знал, что поеду; что нарочно поеду; и чем бестактнее, чем неприличнее будет мне ехать, тем скорее и поеду»⁷⁷. Те же надежды - не идти больше играть и – одновременно – знание-уверенность, что все равно играть пойдет, и от этого злость на себя – испытывает и игрок.

И далее: «С отчаянием представлял я себе, как свысока и холодно встретит меня этот "подлец" Зверков; с каким тупым, ничем неотразимым презрением будет смотреть на меня тупица Трудюлюбов; как скверно и дерзко будет подхихикивать на мой счет козявка Ферфичкин, чтоб подслужиться Зверкову; как отлично поймет про себя все это Симонов и как будет презирать меня за низость моего тщеславия и малодушия, и, главное, - как все это будет мизерно, не литературно, обыденно. Конечно, всего бы лучше совсем не ехать. Но это-то уж было больше всего невозможно: уж когда меня начинало тянуть, так уж я так и втягивался весь, с головой. Я бы всю жизнь дразнил себя потом: "А что, струсил, струсил действительности, струсил!" Напротив, мне страстно хотелось доказать всей этой "шушере", что я вовсе не такой трус, как я сам себе представляю. Мало того: в самом сильнейшем пароксизме трусливой лихорадки мне мечталось одержать верх, победить, увлечь, заставить их полюбить себя - ну хоть "за возвышенность мыслей и несомненное остроумие". Они бросят Зверкова, он будет сидеть в стороне, молчать и стыдиться, а я раздавлю Зверкова»⁷⁸.

«Одержать верх, победить, увлечь, заставить... полюбить себя», - разве не этого же желает и игрок Алексей Иванович в отношении Полины?

Разумеется, «школьные товарищи» и «подпольный человек» провели вечер в том же духе, в каком шли договоренности о его организации.

Следующий пример действия героя по императивному принципу «от размышления - к поступку» еще более показателен. Как помним, вслед за

⁷⁷ Там же, 138.

⁷⁸ Там же, с. 141.

«товарищами» герой устремляется в публичный дом (« - *Туда!* - вскрикнул я. - Или они все на коленях, обнимая ноги мои, будут вымаливать моей дружбы, или... или я дам Зверкову пощечину!»), но не застаёт их там, а вместо этого знакомится с проституткой Лизой.

Разговор начинается с выпытывания Лизиного прошлого. Но очень скоро в «подпольном человеке» проснулось то же, что и прежде, что было и у «игрока» - желание возвыситься над собеседником посредством его унижения.

« - Ты не смотри на меня, что я здесь, я тебе не пример. Я, может, еще тебя хуже. Я, впрочем, пьяный сюда зашел, - поспешил я все-таки оправдать себя. - К тому ж мужчина женщине совсем не пример. Дело разное; я хоть и гажу себя и мараю, да зато ничей я не раб; был да пошел, и нет меня. Страхнул с себя и опять не тот. А взять то, что ты с первого начала - раба. Да, раба! Ты все отдаешь, всю волю. И порвать потом эти цепи захочешь, да уж нет: все крепче и крепче будут тебя опутывать. Это уж такая цепь проклятая. Я ее знаю. Уж о другом я и не говорю, ты и не поймешь, пожалуй, а вот скажи-ка: ведь ты, наверно, уж хозяйке должна? Ну, вот видишь! - прибавил я, хотя она мне не ответила, а только молча, всем существом своим слушала; вот тебе и цепь! Уж никогда не откупишься. Так сделают. Все равно что черту душу...

...И к тому ж я... может быть, тоже такой же несчастный, почем ты знаешь, и нарочно в грязь лезу, тоже с тоски. Ведь пьют же с горя: ну, а вот я здесь - с горя»⁷⁹.

Разговаривая с Лизой, «подпольный человек» унижает не только ее, но для более полного доверия к себе унижает и себя, хотя и не вправду, а на показ. Расчет точен. В этом случае его собеседник-жертва перестает чувствовать естественную для малого знакомства границу и начинает доверять «подпольному» чуть не полностью. Это и происходит с Лизой. Прощаясь, она показывает любовное письмо, которое написал ей

⁷⁹ Там же, с. 155.

малознакомый студент – единственную ценность, единственное свидетельство ее честности, которое она имеет. «Подпольный человек» приглашает ее к себе и уходит.

«На другой день я уже опять готов был считать все это вздором, развозившимися нервами, а главное - преувеличением. Я всегда сознавал эту мою слабую струнку и иногда очень боялся ее: "все-то я преувеличиваю, тем и хромаю", - повторял я себе ежечасно.

...И таков проклятый романтизм всех этих чистых сердец! О мерзость, о глупость, о ограниченность этих "поганых сантиментальных душ"! Ну, как не понять, как бы, кажется, не понять?.." – Но тут я сам останавливался и даже в большом смущении.

"И как мало, мало, - думал я мимоходом, - нужно было слов, как мало нужно было идиллии (да и идиллии-то еще напускной, книжной, сочиненной), чтоб тотчас же и повернуть всю человеческую душу по-своему. То-то девственность-то! То-то свежесть-то почвы!"

Иногда мне приходила мысль самому съездить к ней, "рассказать ей все" и упросить ее не приходить ко мне. Но тут, при этой мысли, во мне подымалась такая злоба, что, кажется, я бы так и раздавил эту "проклятую" Лизу, если б она возле меня вдруг случилась, оскорбил бы ее, оплевал бы, выгнал бы, ударил бы!»⁸⁰

Какую цель преследует герой повести? Для чего это «сближение»? Действительное ли это понимание и сострадание или имитация сопереживания с чувствами девушки с целью отвлечь от истинного намерения и тем больнее ударить? (Лиза, как помним, все-таки пришла к «подпольному», а он и в самом деле над ней насмеялся, надругался и попытался унижить – всучить пятерку, чтоб подчеркнуть ее положение проститутки).

Я думаю, для лучшего понимания феномена «подпольного человека» и поиска ответов на задаваемые ему вопросы нужно вернуться к началу

⁸⁰ Там же, с. 166.

произведения, где от имени «подпольного» Достоевский рассуждает о «людях с крепкими нервами», «умеющих за себя постоять», «за себя отомстить», «нормальных людях» и о «людях думающих, следственно, ничего не делающих», о людях «из реторты».

Дальнейшее раскрытие низости «подпольного человека» - вовсе не мечтателя и книжника, каким его иногда пытается представить автор - важно еще и потому, что некоторыми исследователями он воспринимался еще более «позитивно». Так, известный теоретик либерального народничества, публицист и критик Н.К. Михайловский писал о нем так: «...Разница между подпольным человеком и большинством образованных людей девятнадцатого столетия состоит в том, что он яснее сознает истекающее из злобы наслаждение, а пользуются этим наслаждением все. Такое обобщение смягчает самобичевание подпольного человека. На людях и смерть красна. Не очень уже, значит, скверен подпольный человек, если все таковы; он даже выше остальных, потому что смелее и умнее всех. Пусть же кто-нибудь из «образованных людей девятнадцатого столетия» попробует бросить в него камнем».⁸¹

В «Записках» читаем: «Ведь у людей, умеющих за себя отомстить и вообще за себя постоять, - как это, например, делается? Ведь их как обхватит, положим, чувство мести, так уж ничего больше во всем их существе на это время и не останется, кроме этого чувства. Такой господин так и прет прямо к цели, как взбесившийся бык, наклонив вниз рога, и только разве стена его останавливает. (Кстати: перед стеной такие господа, то есть непосредственные люди и деятели, искренно пасуют. Для них стена - не отвод, как например для нас, людей думающих, а следственно, ничего не делающих; не предлог воротиться с дороги, предлог, в который наш брат обыкновенно и сам не верит, но которому всегда очень рад. Нет, они пасуют со всею искренностью. Стена имеет для них что-то успокоительное, нравственно-разрешающее и окончательное, пожалуй, даже что-то

⁸¹ Михайловский Н.К. «Достоевский в русской критике», сс. 312 – 313. Цит. по: Громова Н.А. Цит. соч., с. 88.

мистическое... Но об стене после). Ну-с, такого-то вот непосредственного человека я и считаю настоящим, нормальным человеком, каким хотела его видеть сама нежная мать - природа, любезно зарождающая его на земле. Я такому человеку до крайней желчи завидую. Он глуп, я в этом с вами не спорю, но, может быть, нормальный человек и должен быть глуп, почему вы знаете? Может быть, это даже очень красиво. И я тем более убежден в злом, так сказать, подозрении, что если, например, взять антитез нормального человека, то есть человека усиленно сознающего, вышедшего, конечно, не из лоно природы, а из реторты (это уже почти мистицизм, господа, но я подозреваю и это), то этот ретортный человек до того иногда пасует перед своим антитезом, что сам себя, со всем своим усиленным сознанием, добросовестно считает за мышшь, а не за человека. Пусть это и усиленно сознающая мышшь, но все-таки мышшь, а тут человек, а следственно..., и проч. И, главное, он сам, сам ведь считает себя за мышшь; его об этом никто не просит; а это важный пункт»⁸².

«Нормального» человека останавливает стена, а «ретортного» - сознание возможной стены. И если первый движется до тех пор, пока не упрется в реальную стену, то второй вовсе не начинает движения, опасаясь стены в перспективе, но при этом все – и возможность движения, и отказ от него - сознает. То есть, выходит, что второй и не живет, а лишь имитирует жизнь, страшно завидует тем, которые живут, но сам к этому не способен. Это-то и говорит автор: «Взглянем же теперь на эту мышшь в действии. Положим, например, она тоже обижена (а она почти всегда бывает обижена) и тоже желает отомстить. Злости-то в ней, может, еще и больше накопится, чем в l'homme de la nature et de la verite. Гадкое, низкое желанье воздать обидчику тем же злом, может, еще и гаже скребется в ней, чем в l'homme de la nature et de la verite, потому что l'homme de la nature et de la verite, по своей врожденной глупости, считает свое мщенье просто-запросто справедливостью; а мышшь, вследствие усиленного сознания, отрицает тут

⁸² Там же, сс. 103 – 104.

справедливость. Доходит наконец до самого дела, до самого акта отмщения. Несчастливая мышь кроме одной первоначальной гадости успела уже нагородить кругом себя, в виде вопросов и сомнений, столько других гадостей; к одному вопросу подвела столько неразрешенных вопросов, что поневоле кругом нее набирается какая-то роковая бурда, какая-то вонючая грязь, состоящая из ее сомнений, волнений и, наконец, из плевков, сыплющихся на нее от непосредственных деятелей, предстоящих торжественно кругом в виде судей и диктаторов и хохочущих над нею во всю здоровую глотку. Разумеется, ей остается махнуть на все своей лапкой и с улыбкой напускного презренья, которому и сама она не верит, постыдно проскользнуть в свою щелочку. Там, в своем мерзком, вонючем подполье, наша обиженная, прибитая и осмеянная мышь немедленно погружается в холодную, ядовитую и, главное, вековечную злость. Сорок лет сряду будет припоминать до последних, самых постыдных подробностей свою обиду и при этом каждый раз прибавлять от себя подробности еще постыднейшие, злобно поддразнивая и раздражая себя собственной фантазией. Сама будет стыдиться своей фантазии, но все-таки все припомнит, все переберет, навидумает на себя небывальщины, под предлогом, что она тоже могла случиться, и ничего не простит. Пожалуй, и мстить начнет, но как-нибудь урывками, мелочами, из-за печки, инкогнито, не веря ни своему праву мстить, ни успеху своего мщения и зная наперед, что от всех своих попыток отомстить сама выстрадает во сто раз больше того, кому мстит, а тот, пожалуй, и не почешется. На смертном одре опять-таки все припомнит, с накопившимися за все время процентами...»⁸³

Так как же могут жить «подпольные люди»? На что они надеются? Как пробуют высвободиться из состояния «подполья» и пробуют ли высвободиться вообще? Ф.М. подробно и неоднократно в разных произведениях пишет о них. Ведь и «игрок» - «подпольный человек». И «игрок» дает свой «рецепт» выхода из «подполья» - удачная игра. А вот

⁸³ Там же, сс. 104 – 105.

герой «Записок» не играет и потому его «выход» - это унижение и закабаление, другими словами – принудительное помещение другого человека в еще более низкое «подземелье», на расположенный под ним «этаж подполья», чтобы при случае и нечистоты на него сливать было сподручно. Природа «подпольного человека», таким образом, в том, что будучи порождением зла, он может существовать только в непрерывном производстве зла нового, только умножая его и – непременно! – сознавая, предвидя или даже планируя все совершаемое. Лиза, однако, не поддается. «Подполье» преодолевается любовью, а ее у нее, очевидно, с избытком. И потому ускользает она от «подпольного».

Н.А. Бердяев задается принципиальным вопросом. «Был ли сам Достоевский человеком из подполья, сочувствовал ли он идейной диалектике человека из подполья? ...Мирозерцание человека («подпольного». – С.Н.) не есть положительное мирозерцание Достоевского. В своем положительном религиозном мирозерцании Достоевский изображает пагубность путей своеволия и бунта подпольного человека. Это своеволие и бунт приведет к истреблению свободы человека и к разложению личности. Но подпольный человек со своей изумительной идейной диалектикой об иррациональной человеческой свободе есть момент трагического пути человека, пути изживания свободы и испытания свободы. ...То, что отрицает подпольный человек в своей диалектике, отрицает сам Достоевский в своем положительном мирозерцании. Он будет до конца отрицать рационализацию человеческого общества, будет до конца отрицать всякую попытку поставить благополучие, благоразумие и благоденствие выше свободы, будет отрицать грядущий Хрустальный Дворец, грядущую гармонию, основанную на уничтожении человеческой личности. Но он поведет человека дальнейшими путями своеволия и бунта, чтобы открыть, что в своеволии истребляется свобода, в бунте отрицается человек».⁸⁴ Так о «главной фигуре русского мира» думает Бердяев. Остается, однако, вопрос:

⁸⁴ Бердяев Н. Мирозерцание Достоевского. Цит. соч. сс. 43 – 44.

почему Ф.М. все же считал подпольного человека «главным человеком русского мира»? Отчего «главным» героем писателя назначается тот, кому предназначено гибнуть на заведомо пагубном пути? Ради каких «настоящих» героев этот гибельный путь столь тщательно исследуется? Есть ли они у Достоевского и из чего произошли, как возникли?

От самого Достоевского на вопрос о «подпольном» напрасно ожидать ответа. Прав В. Шкловский: «противоречия действительности автором познаются, но решения этих противоречий автором не достигается».⁸⁵ И хотя сложилась в литературоведении устойчивая традиция, согласно которой «Записки» - написаны как антитеза «Что делать?», а герой «подполья» - контр-герой по отношению к рахметовым – лопухиным, все же такое объяснение представляется узким. «Подполье» - не столько место, сколько тип жизнепонимания значительного слоя людей, состояние их сознания, возможно, его больная подоснова. А этими структурами Ф.М. интересовался всегда - как до, так и после того как отношение к Чернышевскому и его героям как к «подъемному крану», возвышающемуся над стройкой русской литературы (образ В. Шкловского), да и русской жизни в целом, прошло. В процессе «строительства» выяснилось, что обращать внимание нужно не только на этажность, но и на фундамент, качество строительства и подвальные помещения. И «кран» при этих работах оказавшийся не востребованным, отъехал на «запасной путь» - ждать своего часа, откуда его в свое время извлекут строители нового социалистического мира.

Коль скоро разговор затронул тему новаторства в творческой работе Достоевского, приведу еще одну ее оценку. Довольно точно по этому поводу, сопоставляя Достоевского со Львом Толстым высказывается Д.С. Мережковский: «Так же, как Л. Толстой в бездну плоти, заглянул Достоевский в бездну духа, и показал, что верхняя бездна равняется нижней, что одну ступень человеческого сознания от другой, одну мысль от другой отделяет иногда точно такая же «пучина», «непостижимость», как

⁸⁵ Шкловский В. За и против. Заметки о Достоевском. М., Советский писатель, 1957, с. 140.

«человеческий зародыш – от небытия». И он боролся с неменьшим, чем ужас плоти, ужасом духа – слишком яркого и острого сознания («слишком сознавать – это болезнь»), с ужасом всего отвлеченного, призрачного, фантастического и, в то же время, беспощадно-реального, действительного. Люди боялись или надеялись, что когда-нибудь разум иссушит родники сердца, что сознание убьет чувство, в особенности, религиозное чувство, что свет сознания осветит до конца, до дна все тайны Непознаваемого и Бессознательного, так что уже не останется сумрака, нужного для веры. Достоевский показал, что это ошибка, что человеческое сознание – подобно лучу самого яркого света, направленному в ночное небо: пока земные туманы и облака все еще покрывали небо, луч света ими задерживался, и людям казалось, что у неба есть дно, что свету сознания идти дальше некуда; но когда облака рассеялись, и за ними открылось темное, ясное небо, то управлявшие светом увидели, что чем ярче и длиннее луч, тем глубже мрак неба, и что у этой глубины нет дна. Достоевский, один из первых, понял окончательно, что между разумом и сердцем есть согласие, соединение, что лишь высшая степень научного сознания может дать людям высшую степень религиозного чувства»⁸⁶. Не забудем этот тезис, имея ввиду поиск ответа на вопрос: так ли это.

* * *

Убедившись, что Достоевский способен безоглядно проваливаться в подпольные глубины, полагая все обнаруженное в них атрибутивными характеристиками (качествами) русского человека⁸⁷, в том числе - напрямую связанными с его мировоззрением, обратимся к другой, не менее развитой у него художественно-интеллектуальной интенции. Речь о светлом начале, присущем всякому человеку. В полной мере реализация этой «идеи» Ф.М. была осуществлена в романах «Идиот» (1869) и «Братья Карамазовы» (1881),

⁸⁶ Мережковский Д.С. Толстой и Достоевский. Вечные спутники. М., 1995. С. 155.

⁸⁷ И хотя Достоевский часто имеет ввиду человека не обязательно русского, а человека «вообще», тем не менее, в связи с конкретными его героями мы будем подразумевать в первую очередь человека русского.

хотя первый подход предпринимался уже в автобиографических каторжных очерках - «Записках из мертвого дома» (1860). И чтобы оттенить созданную Достоевским картину русской каторги, время от времени я буду обращаться к не менее масштабному полотну, принадлежащему кисти другого великого русского литератора. Я имею ввиду написанные спустя тридцать лет очерки А.П. Чехова «Остров Сахалин. (Из путевых записок)».

Конечно, писательская установка «конструировать и впоследствии экстраполировать в действительность светлое начало», не работает грубо. Достоевский – не только «конструирующий идеолог», но и глубокий реалист. Его описания «мертвого дома» - сибирского острога – психологически глубоки и беспощадно-подробны. Вот, например, описание самого острога. «Острог наш стоял на краю крепости, у самого крепостного вала. Случалось, посмотришь сквозь щели забора на свет божий: не увидишь ли хоть чего-нибудь? - и только и увидишь, что краешек неба да высокий земляной вал, поросший бурьяном, а взад и вперед по валу, день и ночь, расхаживают часовые; и тут же подумаешь, что пройдут целые годы, а ты точно так же подойдешь смотреть сквозь щели забора и увидишь тот же вал, таких же часовых и тот же маленький краешек неба, не того неба, которое над острогом, а другого, далекого, вольного неба. Представьте себе большой двор, шагов в двести длины и шагов в полтора ширины, весь обнесенный кругом, в виде неправильного шестиугольника, высоким тыном, то есть забором из высоких столбов (паль), врытых стойком глубоко в землю, крепко прислоненных друг к другу ребрами, скрепленных поперечными планками и сверху заостренных: вот наружная ограда острога. В одной из сторон ограды вделаны крепкие ворота, всегда запертые, всегда день и ночь охраняемые часовыми; их отпирали по требованию, для выпуска на работу»⁸⁸.

А вот жилище арестантов – так называемая казарма. «Это была длинная, низкая и душная комната, тускло освещенная сальными свечами, с тяжелым, удушающим запахом. Не понимаю теперь, как я выжил в ней десять лет. На

⁸⁸ Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений в тридцати томах. Л., Наука, 1973. Т. 4, с. 9.

нарах у меня было три доски: это было все мое место. На этих же нарах размещалось в одной нашей комнате человек тридцать народу. Зимой запирали рано; часа четыре надо было ждать, пока все засыпали. А до того - шум, гам, хохот, ругательства, звук цепей, чад и копоть, бритые головы, клейменные лица, лоскутные платья, все - обруганное, ошельмованное... да, живуч человек! Человек есть существо ко всему привыкающее, и, я думаю, это самое лучшее его определение»⁸⁹.

Каторга – это, прежде всего, люди. Давая им общую характеристику, Достоевский не изменяет запечатленной в памяти реальности, проведенным в неволе годам, и потому характеристика эта для русского народа в его несвободном состоянии нелицеприятна. «Весь этот народ» - обобщает Ф.М., - «был народ угрюмый, завистливый, страшно тщеславный, хвастливый, обидчивый и в высшей степени формалист». Все были помешаны на том, чтобы казаться достойнее, чем были на самом деле. Все держались «заносчиво». Впрочем, этот вид даже при небольшом внешнем давлении тут же сменялся на самый малодушный. Большинство «было развращено и страшно исподлилось. Сплетни и пересуды были непрерывные: это был ад, тьма кромешная». Характерен для всех был тон какого-то даже «собственного достоинства», как будто звание каторжного означало признание каких-то заслуг. Но при этом ни у кого не было никаких признаков стыда за содеянное и раскаяния. Вместо него присутствовало какое-то показное резонерство, вроде того, что мы-де понимаем, что было и что есть и этого с нас довольно. Понимание это сопровождалось несерьезными прибаутками вроде «Не слушался отца и матери, послушайся теперь барабанной шкуры» или «Не хотел шить золотом, теперь бей камни молотом».

Вряд ли, - и это значимое признание в устах идеализирующего «народопоклонника», каким был Достоевский - «хоть один из них сознавался внутренне в своей незаконности». Опыта раскаяния людей,

⁸⁹ Там же, с. 10.

совершивших преступления, Достоевский в окружающих не находил. Запомнить этот факт на будущее тем более важно, что впереди у нас знаменитый роман «Преступление и наказание», который по сути есть роман о «преступлении - раскаянии – покаянии» как едином целом с сопровождающими эту целостность авторскими реминисценциями о свойственности этого неразрывного (в предельном значении – единого) процесса для русского сознания и мировоззрения. Реалистичность «Записок» оттеняет известную фантазийность и православный идеологизм, свойственные роману о Родионе Раскольникове.

И еще: отсутствие раскаяния в реальных преступниках, каких Достоевский наблюдал в остроге, к сожалению, скорее норма, чем массовая патология. Что же до героя «Преступления и наказания», то его раскаяние есть не столько логическая ступенька в процессе движения от совершения преступления, через страдание от содеянного к раскаянию, сколько иное. Это иное будет рассмотрено далее, но пока обращу внимание лишь на знаковость фигуры Раскольникова как одного из «подпольных» персонажей, кочующих у Достоевского по обозначенному ранее «пятикнижию» - «Записки из мертвого дома» - «Преступление и наказание» - «Идиот» - «Бесы» - «Братья Карамазовы». В серьезнейшей степени все главные их герои в той или иной степени люди «из подполья» и в этом смысле «подпольный» - действительно главный персонаж и герой прозы Достоевского.

Но вернемся к «Запискам из мертвого дома». В реальности острога любой намек (тем более со стороны человека, не являющегося каторжным) на совершенное кем-то из осужденных преступление как минимум вызывал бурю ненависти, облеченную в изощренную брань. «А какие были они все мастера ругаться! Ругались они утонченно, художественно. Ругательство возведено было у них в науку; старались взять не столько обидным словом, сколько обидным смыслом, духом, идеей - а это утонченнее, ядовитее».

Бесперывные ссоры еще более развивали эту науку между узниками. К тому же, «весь этот народ работал из-под палки, - следственно, он был

праздний, следственно, развращался: если и не был прежде развращен, то в каторге развращался. Все они собрались сюда не своей волей; все они были друг другу чужие»⁹⁰.

Достоевский признает, что в продолжение всех лет пребывания в остроге не видел ни у кого ни малейших признаков раскаяния, а большая часть и вовсе считала себя правыми. Конечно, заметить что-либо в чужой душе дело не простое. Но ведь можно было увидеть хоть что-то, что свидетельствовало бы о «внутренней тоске», о «страдании», - замечает автор «Мертвого дома». Этого не было. Напротив, в преступнике «острог и самая усиленная каторжная работа развивают только ненависть, жажду запрещенных наслаждений и страшное легкомыслие».⁹¹ Как дают себя знать эти качества в разного рода острожных человеческих типах?

Следуя за изложением автора, в романе обнаруживаются так называемые нищие. «В нашей комнате, так же как и во всех других казармах острога, всегда бывали нищие, байгуши, проигравшиеся и пропившиеся или так просто, от природы, нищие. Я говорю «от природы» и особенно назираю на это выражение. Действительно, везде в народе нашем, при какой бы то ни было обстановке, при каких бы то ни было условиях, всегда есть и будут существовать некоторые странные личности, смиренные и нередко очень неленивые, но которым уж так судьбой предназначено на веки вечные оставаться нищими. Они всегда бобыли, они всегда неряхи, они всегда смотрят какими-то забитыми и чем-то удрученными и вечно состоят у кого-нибудь на помывке, у кого-нибудь на посылках, обыкновенно у гуляк или внезапно разбогатевших и возвысившихся. Всякий почин, всякая инициатива - для них горе и тягость. Они как будто и родились с тем условием, чтоб ничего не начинать самим и только прислуживать, жить не своей волей, плясать по чужой дудке; их назначение - исполнять одно чужое. В довершение всего никакие обстоятельства, никакие перевороты не могут их обогатить. Они всегда нищие. Я заметил, что такие личности водятся и не в

⁹⁰ Там же, сс. 12 – 13.

⁹¹ Там же, с. 15.

одном народе, а во всех обществах, сословиях, партиях, журналах и ассоциациях. Так-то случалось и в каждой казарме, в каждом остроге, и только что составлялся майдан (азартная карточная игра. – СН.), один из таких немедленно являлся прислуживать. Да и вообще ни один майдан не мог обойтись без прислужника. Его нанимали обыкновенно игроки все вообще, на всю ночь, копеек за пять серебром, и главная его обязанность была стоять всю ночь на карауле. Большею частью он мерз часов шесть или семь в темноте, в сенях, на тридцатиградусном морозе, прислушиваясь к каждому стуку, к каждому звону, к каждому шагу на дворе. Плац-майор или караульные являлись иногда в острог довольно поздно ночью, входили тихо и накрывали и играющих, и работающих, и лишние свечки, которые можно было видеть еще со двора. По крайней мере, когда вдруг начинал греметь замок на дверях из сеней на двор, было уже поздно прятаться, тушить свечи и улегаться на нары. Но так как караульному прислужнику после того больно доставалось от майдана, то и случаи таких промахов были чрезвычайно редки. Пять копеек, конечно, смешно ничтожная плата, даже и для острога; но меня всегда поражала в остроге суровость и безжалостность нанимателей, и в этом и во всех других случаях. «Деньги взял, так и служи!» Это был аргумент, не терпевший никаких возражений. За выданный грош наниматель брал все, что мог брать, брал, если возможно, лишнее и еще считал, что он одождает наемщика. Гуляка, хмельной, бросающий деньги направо и налево без счету, непременно обсчитывал своего прислужника, и это заметил я не в одном остроге, не у одного майдана»⁹².

Близкими к типу нищих были и так называемые «стряпки» - каторжане, добровольно определившиеся в повара, чтобы готовить тем, у кого были средства, «особое» кушанье. (Примечательно, что в отличие от арестантов, описываемых Чеховым, которых он наблюдал на Сахалине спустя тридцать с небольшим лет, у сидевших в сибирском остроге была такая возможность и привилегия). Впрочем, в остроге Достоевский пользовался более широким

⁹² Там же, сс. 49 – 50.

спектром услуг, нежели услуги простой «стряпки». У него был «прикомандировавшийся» некто Сушилов, который в своем усердии служить «сам изобретал тысячи различных обязанностей». «Характеристика этих людей - уничтожать свою личность всегда, везде и чуть не перед всеми, а в общих делах разыгрывать даже не второстепенную, а третьестепенную роль. Все это у них уж так по природе. Сушилов был очень жалкий малый, вполне безответный и приниженный, даже забитый, хотя его никто у нас не бил, а так уж, от природы забитый».⁹³

Арестант этот, поясняет автор, был известен тем, что на этапе «сменился» своей жизненной и преступной историей с другим, за которым числились значительно более тяжкие провинности. Сделал он это за ничтожную мзду – красную рубашку и рубль серебром, кои и были в непродолжительное время пропиты потворствовавшей «смене» заинтересованной в выпивке арестантской компанией. Поскольку фотографий в арестантских делах в то время не было, а «паспорт» состоял из описания внешнего вида человека и каких-либо свойственных ему особых примет (если они были), сделать это было довольно легко, чем иногда и пользовались наиболее бессовестные из осужденных, подставляя вместо себя под свое тяжкое наказание доверчивых простаков. Таким и был Сушилов.

Среди соседей Достоевского по казарме был и молодой человек из дворян, некто А – в. «Это был пример, до чего могла дойти одна телесная сторона человека, не сдержанная внутренно никакой нормой, никакой законностью. И как отвратительно мне было смотреть на его вечную насмешливую улыбку. Это было чудовище, нравственный Квазимодо. Прибавьте к тому, что он был хитер и умен, красив собой, несколько даже образован, имел способности. Нет, лучше пожар, лучше мор, чем такой человек в обществе!»⁹⁴ В остроге он подвизался на ниве доносительства с

⁹³ Там же, с. 58.

⁹⁴ Там же, с. 62.

неугасаемой постоянной жаждой наигрубейших, самых зверских телесных наслаждений, раде которых он способен был на все».⁹⁵

В изображении многих острожных типов Достоевский отмечает одну объединяющую их характеристику – идущее изнутри, из их природы желание разом «перескочить» какую-то черту, символизирующую законность и власть и «насладиться самой разнузданной и беспредельной свободой», насладиться ужасом, который человек не может при этом не испытывать. И, к тому же, знает он, что ждет его неминуемое наказание, может быть даже казнь. Но все это владеет человеком вплоть до эшафота, а потом – как рукой снимает. И приходит он в острог «такой слюнявый, такой сопливый, забитый даже, так что даже удивляешься на него: «Да неужели это тот самый, который зарезал пять-шесть человек?»»⁹⁶

В такого рода превращениях, в переходах от человеческого облика в облик звериный и обратно к человеку, как это бывает с оборотнем, Достоевский предполагает действие не только внутренних особенностей природы людей определенного рода, но и влияние среды, в какую такой «оборотень» попадает, в том числе – среды его родной, простонародной, а впоследствии и среды острожной, отличающейся от среды народной немногим. В этих «родных» ему внешних условиях для такого «оборотня» главное то, что «преступник знает притом и не сомневается, что он оправдан судом своей родной среды, своего же простонародья, которое никогда, он опять-таки знает это, его окончательно не осудит, а большею частью и совсем оправдает, лишь бы грех его был не против своих, против братьев, против своего же родного простонародья. Совесть его спокойна, а совестью он и силен и не смущается нравственно, а это главное. Он как бы чувствует, что есть на что опереться, и потому ненавидит, а принимает случившееся с ним за факт неминуемый, который не им начался, не им и кончится и долго-

⁹⁵ Там же, с. 63.

⁹⁶ Там же, с. 88.

долго еще будет продолжаться среди раз поставленной, пассивной, но упорной борьбы»⁹⁷.

Сколь удалено описанное Достоевским народное самосознание от самосознания развитой личности, впитавшей в себя основы христианства, этой личностной религии, пришедшей на смену языческому варварству? Удалено чрезвычайно. Не перестало быть варварским. Оно незатейливо и примитивно: не осуждается средой, собратьями, соплеменниками – так и греха нет.

Вывод этот, к которому подводит Достоевский, им самим не анализируется, остается за полем внимания писателя. Более того. Автор идет дальше и отмечает как родовую характеристику присущую каждому русскому склонность быть... палачом. «Свойства палача в зародыше находятся почти в каждом современном человеке»⁹⁸, четко определяет он.

Очевидно, по этой причине, Ф.М. идет дальше и делает еще более поразительное наблюдение - утверждает, что добровольным палачом народ гнушается меньше, чем подневольным.

Отчего так? Ведь, кажется, сделаться истязателем и убийцей добровольно есть тяжкий нравственный грех. Но это верно для общества, состоящего из личностей, исповедующих ценности христианства. У Достоевского же русский народ явный язычник, наполовину варвар, имеющий в каждом своем члене зародыш палача. Добровольный палач выполняет свою работу как бы в продолжение всем понятных и «почти каждому» присущих свойств – чувства власти и даже господства над другим человеком, сладкого ощущения собственной способности причинения боли другому. В этой связи, отмечает автор, обязательной частью «ритуала» наказания должно быть публичное моление о пощаде. «Я знавал людей даже добрых, даже честных, даже уважаемых в обществе, и между тем они, например, не могли хладнокровно перенести, если наказуемый не кричит под розгами, не молит и не просит о пощаде. Наказуемые должны непременно

⁹⁷ Там же, с. 147.

⁹⁸ Там же, с. 155.

кричать и молить о пощаде. Так принято; это считается и приличным и необходимым, и когда однажды жертва не хотела кричать, то исполнитель, которого я знал и который в других отношениях мог считаться человеком, пожалуй, и добрым, даже лично обиделся при этом случае. Он хотел было сначала наказать легко, но, не слыша обычных "ваше благородие, отец родной, помилуйте, заставьте за себя вечно бога молить" и проч., рассвирепел и дал розог пятьдесят лишних, желая добиться и крику и просьб, - и добился. "Нельзя-с, грубость есть", - отвечал он мне очень серьезно»⁹⁹.

Подневольного же палача народ боится, так как видит в нем прежде всего проявление власти, проявление иной природы, ничем не связанной с его собственной природой и потому не понятной. По отношению к подневольному палачу народ испытывает суеверный страх, старается его всячески задобрить, а если удастся, то и подкупить. Что же до самого подневольного палача как элемента власти, то он вполне соответствует своему статусу, сознает его и даже преисполнен собственного достоинства.

Относясь к подневольному палачу как к элементу власти, народ, свидетельствует Достоевский, даже находит в некоторых из палачей нечто, вызывающее симпатию. Примечательна зарисовка о поручике Смекалове, о котором «вспоминали у нас с радостью и наслаждением. Дело в том, что это вовсе не был какой-нибудь особенный охотник высечь; ...в том-то и дело, что самые розги его вспоминались у нас с какою-то сладкою любовью, - так умел угодить этот человек арестантам! А и чем? Чем заслужил он такую популярность? Правда, наш народ, как, может быть, и весь народ русский, готов забыть целые муки за одно ласковое слово; говорю об этом как об факте, не разбирая его на этот раз ни с той, ни с другой стороны. Нетрудно было угодить этому народу и приобрести у него популярность. Но поручик Смекалов приобрел особенную популярность - так что даже о том, как он сек, припоминалось чуть не с умилением. "Отца не надо", - говорят, бывало, арестанты и даже вздыхают, сравнивая по воспоминаниям их

⁹⁹ Там же.

прежнего временного начальника, Смекалова, с теперешним плац-майором. "Душа человек!" Был он человек простой, может, даже и добрый по-своему. Но случается, бывает не только добрый, но даже и великодушный человек в начальниках; и что ж? - все не любят его, а над иным так, смотришь, и просто смеются. Дело в том, что Смекалов умел как-то так сделать, все его у нас признавали за своего человека, а это большое умение или, вернее сказать, прирожденная способность, над которой и не задумываются даже обладающие ею. Странное дело: бывают даже из таких и совсем недобрые люди, а между тем приобретают иногда большую популярность. Не брезгливы они, не гадливы к подчиненному народу, - вот где, кажется мне, причина! Барчонка-белоручки в них не видать, духа барского не слышать, а есть в них какой-то особенный простонародный запах, прирожденный им, и, боже мой, как чуток народ к этому запаху! Чего он не отдаст за него! Милосерднейшего человека готов променять даже на самого старого, если этот припахивает ихним собственным посконным запахом. Что ж, если этот припахивающий человек, сверх того, и действительно добродушен, хотя бы и по-своему? Тут уж ему и цены нет! Поручик Смекалов, как уже и сказал я, иной раз и больно наказывал, но он как-то так умел сделать, что на него не только не злобствовали, но даже, напротив, теперь, в мое время, как уже все давно прошло, вспоминали о его штучках при сечении со смехом и с наслаждением. Впрочем, у него было немного штук: фантазии художественной не хватало. По правде, была всего-то одна штучка, одна-единственная, с которой он чуть не целый год у нас пробавлялся; но, может быть, она именно и мила-то была тем, что была единственная. Наивности в этом было много. Приведут, например, виноватого арестанта. Смекалов сам выйдет к наказанию, выйдет с усмешкою, с шуткою, об чем-нибудь тут же расспросит виноватого, об чем-нибудь постороннем, о его личных, домашних, арестантских делах, и вовсе не с какою-нибудь целью, не с заигрыванием каким-нибудь, а так просто - потому что ему действительно знать хочется об этих делах. Принесут розги, а Смекалову стул; он сядет на

него, трубку даже закурит. Длинная у него такая трубка была. Арестант начинает молить... "Нет уж, брат, ложись, чего уж тут..." - скажет Смекалов; арестант вздохнет и ляжет. "Ну-тка, любезный, умеешь вот такой-то стих наизусть?" - "Как не знать, ваше благородие, мы крещеные, сыздетства учились". - "Ну, так читай". И уж арестант знает, что читать, и знает заранее, что будет при этом чтении, потому что эта штука раз тридцать уже и прежде с другими повторялась. Да и сам Смекалов знает, что арестант это знает; знает, что даже и солдаты, которые стоят с поднятыми розгами над лежащей жертвой, об этой самой штуке тоже давно уж наслышаны, и все-таки он повторяет ее опять, - так она ему раз навсегда понравилась, может быть именно потому, что он ее сам сочинил, из литературного самолюбия. Арестант начинает читать, люди с розгами ждут, а Смекалов даже принагнется с места, руку подымет, трубку перестанет курить, ждет известного словца. После первой строчки известных стихов арестант доходит наконец до слова "на небеси". Того только и надо. "Стой! - кричит воспламененный поручик и мигом с вдохновенным жестом, обращаясь к человеку, поднявшему розгу, кричит: - А ты ему поднеси!"

И заливается хохотом. Стоящие кругом солдаты тоже ухмыляются: ухмыляется секущий, чуть не ухмыляется даже секомый, несмотря на то что розга по команде "поднеси" свистит уже в воздухе, чтоб через один миг как бритвой резнуть по его виноватому телу. И радуется Смекалов, радуется именно тому, что вот как же это он так хорошо придумал - и сам сочинил: "на небеси" и "поднеси" - и кстати, и в рифму выходит. И Смекалов уходит от наказания совершенно довольный собой, да и высеченный тоже уходит чуть не довольный собой и Смекаловым. И, смотришь, через полчаса уж рассказывает в остроге, как и теперь, в тридцать первый раз, была повторена уже тридцать раз прежде всего повторенная шутка. "Одно слово, душа человек! Забавник!"

Даже подчас какой-то маниловщиной отзывались воспоминания о добрейшем поручике.

- Бывало, идешь этта, братцы, - рассказывает какой-нибудь арестантик, и все лицо его улыбается от воспоминания, - идешь, а он уж сидит себе под окошком в халатике, чай пьет, трубочку покуривает. Снимешь шапку. - Куда, Аксенов, идешь?

- Да на работу, Михаил Васильич, перво-наперво в мастерскую надоть, засмеется себе... То есть душа человек! Одно слово душа!

- И не нажить такого! - прибавляет кто-нибудь из слушателей»¹⁰⁰.

Такова власть. Таков подвластный ей народ. С «радостью и наслаждением», со «сладкою любовью», с «умилением» припоминается порка. И, кажется, от этого всего один шаг, чтобы согласиться с Лермонтовым, Герценым и Чернышевским относительно рабства, сделавшегося частью народного нутра и надолго, если не навсегда, превратившего Россию в рабское царство.

Но не все у Достоевского на этом кончается. В другом месте «Записок» Ф.М. дает нам понять, что такого рода вещи как любовь к кнуту, он все же считает за внешнее. Им неустанно проводится мысль о том, что «высшая и самая резкая характеристическая черта нашего народа - это чувство справедливости и жажда ее. ...Стоит только снять наружную, наносную кору и посмотреть на самое зерно повнимательнее, поближе, без предрассудков - и иной увидит в народе такие вещи, о которых и не предугадывал. Немногому могут научить народ мудрецы наши. Даже, утвердительно скажу, - напротив: сами они еще должны у него поучиться»¹⁰¹.

Достоевский, конечно, не только знает народ, но и, следуя за славянофилами и Толстым, не может удержаться от соблазна народопоклонства. Что же до того, кто, у кого и чему может и должен учиться – то это отдельный большой сюжет. Пока отмечу важное для темы палачества: подмеченной Достоевским расположенностью русских к этой «профессии», к этому «делу», в чем, справедливости ради сказать – они среди других народов не исключение, к счастью, исчерпывается не все. А,

¹⁰⁰ Там же, сс. 151 – 152.

¹⁰¹ Там же, сс. 121 – 122.

кроме того, если провести обещанное ранее сравнение с каторгой, описанной А.П. Чеховым, то со временем цивилизация и вырабатываемые ею в человеке качества все более одерживают верх над изначальным варварством. Вот мнение о каторге самого Антона Павловича, которому нельзя не доверять: «...Как бы то ни было, "Мертвого дома" уже нет. На Сахалине среди интеллигенции, управляющей и работающей в канцеляриях, мне приходилось встречать разумных, добрых и благородных людей, присутствие которых служит достаточной гарантией, что возвращение прошлого уже невозможно. Теперь уже не катают каторжных в бочках и нельзя засечь человека или довести его до самоубийства без того, чтобы это не возмутило здешнего общества и об этом не заговорили бы по Амуру и по всей Сибири. Всякое мерзкое дело рано или поздно всплывает наружу, становится гласным, доказательством чему служит мрачное онорское дело, которое, как ни старались скрыть его, возбудило много толков и попало в газеты благодаря самой же сахалинской интеллигенции. Хорошие люди и хорошие дела уже не составляют редкости. Недавно в Рыковском скончалась фельдшерица, служившая много лет на Сахалине ради идеи - посвятить свою жизнь людям, которые страдают. При мне в Корсаковске однажды унесло каторжного в море на сеноплавке; смотритель тюрьмы майор Ш. отправился в море на катере и, несмотря на бурю, подвергая свою жизнь опасности, плавал с вечера до двух часов ночи, пока ему не удалось отыскать в потемках сеноплавку и снять с нее каторжного».¹⁰²

* * *

Заявленная в «Записках из подполья» тема «подпольного человека», органично продолжается во «втором акте» «пятиактной трагедии» - романе «Преступление и наказание». Дело, впрочем, не только в том, что в пяти романах («Записки из подполья», «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы» и «Братья Карамазовы») исследуется одна и та же философская тема борьбы добра со злом. Моя гипотеза состоит в том, что в названных

¹⁰² Чехов А.П. Полное собрание сочинений и писем в тридцати томах. М., Наука, 1987. Тт. 14 – 15, сс. 320 – 321.

произведениях Достоевского, так же как и в шеститомной романной эпопее И.С. Тургенева, читатель прежде всего может наблюдать разные стадии развития, разные формы жизненного воплощения центрального героя всего творчества Достоевского – «подпольного» человека. В «Записках из подполья» герой прямо заявляет о себе как о новом, возможно, центральном с точки зрения Ф.М., лице русской жизни, однако его переход от мыслей к поступкам, «материализация» его слов в действия, которые бы нечто меняли в реальной жизни, в этом произведении пока были слишком незначительны. Герой «Записок» был своего рода традиционным героем-идеологом. Иное, несравненно более серьезное его воздействие на мир и других людей мы увидим в последующих романах, в которых «подпольный» начинает действовать и сразу – уже в «Преступлении и наказании», что называется «берет верхнее «до» - материализуя темные начала своего разума, совершает убийство.

«Подпольный» человек – не отдельный персонаж или их некоторый особенный ряд. Это – вообще все самое низкое, подкорковое, что, как полагает Достоевский, присуще человеку XIX столетия. И в этом смысле этот обнаруженный в России тип всечеловечен¹⁰³.

Но, с другой стороны, «подпольный» человек - это и отражение реально существующего очень широкого собственно петербургского социального слоя, это собирательный образ населяющих Петербург «новых» людей (еще одна, наряду с Чернышевским, интерпретация «нового». – С.Н.) – город семинаристов и канцеляристов», город «самый отвлеченный и умышленный»¹⁰⁴. Таков, без сомнения, «подпольный» человек Родион Романович Раскольников. Таковы многие центральные персонажи романов,

¹⁰³ Думаю, что наряду с писательским талантом, может быть не менее существенной причиной признания и известности Достоевского в мировой культуре было именно это – обнаружение им чего-то универсального, что свойственно всем людям вообще.

¹⁰⁴ По оценке Мережковского, «град Петра» и в XX веке являл собой «не только «самый фантастический», но и самый прозаический из всех городов земного шара. Рядом с ужасом бреда – не меньший ужас действительности». Мережковский Д.С. Цит. соч., с. 136.

вышедших позднее. Что же объединяет «подпольных» людей и позволяет говорить о них как об особом культурном и метафизическом типе?

Оставляя за собой право дать ответ на поставленный вопрос в дальнейшем, приведу пока мнение Д.С. Мережковского на этот счет. Правда, этот исследователь не видит в Раскольникове и других близких ему по духу романских героях Достоевского именно «подпольного» человека, выявляющего в себе и затем выводящего наружу все, даже самые темные свои мысли и чувства-страсти. Вопрос: нужно ли это делать, то есть стараться подчинить и поработить этими мыслями-чувствами других, находить способы покорения себе мира и пытаться осуществить это на практике, вопрос этот для Мережковского не существует. Для него «подпольные» – это такие люди, которые решаются и предоставляют себе право на все ими совершаемое и, тем самым, «право имеют». Они вовсе не «подпольные», а те, чья человеческая личность доводится до своих «последних пределов» - личность «растущая, развивающаяся из темных, стихийных, животных корней до последних лучезарных вершин духовности»¹⁰⁵. «Я обязан заявить своеволие», – говорит в «Бесах» Кириллов, для которого самоубийство, кажущийся предел самоотрицания, есть в действительности высший предел самоутверждения личности, предел «своеволия» – и все герои Достоевского могли бы сказать то же самое»¹⁰⁶.

Итак, вопрос «нужно или нет выводить наружу и материализовать растущую из темного мысль-страсть» не ставится, так как признается «право» и даже необходимость такого действия. Это, следуя логике Мережковского и вводя отвергаемый им термин, можно считать первой атрибутивной характеристикой «подпольных» людей.

¹⁰⁵ По ходу замечу, что в данном случае Достоевскому приписывается желаемое. Его Раскольников, как и другие «подпольные», ни до каких «последних лучезарных вершин духовности» не дорастают. О Родионе Романовиче известно лишь, что под воздействием Сони он раскаялся. Но сказано это, что называется, «через запятую» и то - в заключительном писательском конспективном изложении этой истории – в «Эпilogue».

¹⁰⁶ Там же, с. 118.

Далее Мережковский определяет еще одну общую (родовую) черту особых («подпольных») людей. Темное извлекается наружу посредством разума, вооруженного неумолимой диалектикой и логикой. Право же на логику своевольного извлечения из себя темного им не только не оспаривается, но и приветствуется как особый отличительный знак людей высшего порядка. Это извлечение и материализация называется Мережковским «героической борьбой» (отсюда: все романы Достоевского - не эпос, но трагедии).

«Существуют мысли, - читаем у Мережковского, - которые подливают масла в огонь страстей, зажигают человеческую плоть и кровь сильнее, чем самые неудержимые похоти. Существует логика страстей; но существуют и *страсти логики*. И это – по преимуществу наши, особые, чуждые людям прежних культур, новые страсти¹⁰⁷. Прикосновение голого тела к самому холодному производит иногда впечатление обжога: прикосновение сердца к самому отвлеченному, метафизическому производит иногда действие раскаляющей страсти, он и в действительной жизни обрежется чуть не до смерти.

Его преступление (речь о Раскольникове. – С.Н.) есть плод, как выражается судебный следователь Порфирий, «теоретически раздраженного сердца». Точно то же можно бы сказать о всех героях Достоевского: их страсти, их преступления, совершаемые или только «разрешаемые по совести», суть неизбежные выводы из диалектики. Ледяная, отточенная, как бритва, она не гасит, а разжигает, раскаляет страсть. В ней – огонь и лед

¹⁰⁷ Отмечу, что подобно Чернышевскому, озабоченному конструированием «новых» людей и прибегнувшего для этого к рассмотрению способов изменения обстоятельств, к которым люди приспособятся и, тем самым, себя изменят, Достоевский – и это точно интерпретирует Мережковский - идет другим путем. У него «новые» люди – те, которые как паук паутину плетут из себя и развешивают вокруг «логику страстей» и «страсти логики». Для этого они дали себе «право» и у них в избытке наличествует темное нутро. Достоевский, таким образом, с другой, чем Чернышевский, стороны делает одно с ним общее дело: подтачивает устои культуры, разрушает историю, деморализует человека. Правда, только этим Достоевский не исчерпывается. На место разрушенного он будет пытаться поместить своих «святых» - Мышкина и Алешу Карамазова. Но знакомая со времен Базарова установка «сперва нужно место расчистить» принимается им вполне.

вместе. Они глубоко чувствуют, потому что глубоко думают; бесконечно страдают, потому что бесконечно сознают; смеют хотеть, потому что смеют мыслить. И чем, по-видимому, дальше от жизни, отвлеченнее – тем пламеннее мысль, тем глубже войдет она в жизнь, тем неизгладимее запечатлется выжженный ею след на живой человеческой плоти и крови». ¹⁰⁸

Отметим не только трезвый анализ, но и моральную симпатию, звучащую в суждении Мережковского: «разрешаемые по совести» преступления – неизбежные выводы из диалектики. «Особые» - «подпольные» глубоко чувствуют и думают, бесконечно сознают и страдают потому, что «смеют мыслить» и, значит, оставленный ими в жизни «выжженный след» - страдания других и даже этих других убийства – естественная функция и следствие их природы.

И все же (Мережковский, кажется, чувствует это) нам чего-то не хватает для того, чтобы смириться с правом «особых» естественно проявлять свою природу со всей ее глубинной диалектикой и чувствами, потому что те, кто «особыми»-«подпольными» не является, ничем не защищены и даже не подозревают о необходимости защищаться от того, чтобы не превратиться в «выжженный след». В этой связи, хотя и по другому поводу однажды верно заметил В.Г. Белинский в частном письме: «Говорят, что дисгармония есть условие гармонии: может быть, это очень выгодно и усладительно для меломанов, но уж, конечно, не для тех, которым суждено выразить своею участью идею дисгармонии». ¹⁰⁹ Впрочем, «особые» потому и «особые», что такими мелочами не заботятся.

Создается впечатление, что перед Мережковским стоит незримая задача – сделать идею «дисгармонии» выгодной и усладительной не только для «подпольных», но и для кандидатов на превращение в «выжженный след». И он находит блестящий выход, одновременно являющийся еще одной характеристикой «особого»-«подпольного» человека. «Подпольность»

¹⁰⁸ Там же, с. 122.

¹⁰⁹ Цит. по: Шестов Л.И. «Добро в учении гр. Толстого и Ницше». М., Директмедиа Паблишинг, 2002 г., с. 4.

объявляется качеством, присущим всем и каждому. Вывод этот столь существенен, что я позволю себе привести на этот счет обширную обосновывающую выдержку из его сочинения.

«Существуют простодушные читатели, - поясняет он, - с размягченную дряблую современную чувствительностью, которым Достоевский всегда будет казаться «жестоким», только «жестоким талантом».

И в самом деле, в какие невыносимо-безвыходные, невероятные положения ставит он своих героев. Чего он только над ними ни проделывает! Через какие бездны нравственного падения, духовные пытки, не менее ужасные, чем телесная пытка Ивана Ильича (речь о повести Л. Толстого «Смерть Ивана Ильича». – С.Н.), доводит он их до преступления, самоубийства, слабоумия, белой горячки, сумасшествия. Не сказывается ли у Достоевского в этих страшных и унижительных положениях человеческих душ такое же циническое злорадство, как у Л. Толстого в страшных и унижительных положениях человеческих тел?¹¹⁰ Не кажется ли иногда, что Достоевский мучит свои «жертвочки» без всякой цели, только для того, чтобы насладиться их муками? Да, воистину, это – палач, сладострастник мучительства. Великий Инквизитор душ человеческих – «жестокый талант».

И разве все это естественно, возможно, реально, разве это бывает в действительной жизни? Где это видано? И если даже бывает, то какое дело нам, здравомыслящим людям, до этих редких из редких, исключительных из исключительных случаев, до этих нравственных и умственных чудовищностей, уродств и юродств, подобных видениям горячечного бреда?

Вот главное, всем понятное обвинение против Достоевского – неестественность, необычность, искусственность, отсутствие так называемого «здорового реализма».

¹¹⁰ Удивительное замечание! Несколько ранее Мережковский приводил эпизод из «Смерти Ивана Ильича», в котором больной для временного облегчения невыносимых болей просит своего слугу сесть на постель и положить его ноги себе на плечи. Поза не для стороннего наблюдателя, но Толстой все равно подробно описывает ее, дабы позволить нам понять ужас болей несчастного. Допускаю, что в этом описании у Толстого нет сочувствия. Но в чем здесь можно подозревать авторское «злорадство» и почему это положение человеческих тел называется «унижительным»?

...Меня зовут психологом, – говорит он сам, – неправда, я лишь реалист в высшем смысле, т. е. изображаю все глубины души человеческой.

...«Естествоиспытатель, тоже иногда «в высшем смысле реалист» – реалист новой, еще неизвестной, небывалой реальности – делая научные опыты, окружает в своих машинах и приборах естественное явление природы искусственными, исключительными, редкими, необычайными условиями и наблюдает, как, под влиянием этих условий, явление будет изменяться. Можно бы сказать, что сущность всякого научного опыта заключается именно в преднамеренной искусственности окружающих условий.

Так, химик, увеличивая давление атмосфер до степени невозможной в условиях известной нам природы, постепенно сгущает воздух и доводит его от газообразного состояния до жидкого. Не кажется ли «нереальной», неестественной, сверхъестественной, чудесной эта темно-голубая, как самое чистое небо, прозрачная жидкость, испаряющаяся, кипящая и холодная, холоднее льда, холоднее всего, что мы можем себе представить? Жидкого воздуха не бывает, по крайней мере, не бывает в доступной нашему исследованию, земной природе. Он казался нам чудом, – но вот он оказывается самую реальную научную действительностью. Его «не бывает», но он есть.

Не делает ли чего-то подобного и Достоевский – «реалист в высшем смысле» – в своих опытах с душами человеческими? Он тоже ставит их в редкие, странные, исключительные, искусственные условия, и сам еще не знает, ждет и смотрит, что из этого выйдет, что с ними будет. Для того, чтобы непроявившиеся стороны, силы, сокрытые в «глубинах души человеческой», обнаружались, ему **необходима такая-то степень давления нравственных атмосфер**, которая, в условиях теперешней «реальной» жизни, никогда или почти никогда не встречается – или разреженный, ледяной воздух отвлеченной диалектики, или огонь стихийно-животной страсти, **огонь белого каления**. В этих опытах иногда получает он состояние души человеческой, столь же новые, кажущиеся невозможными,

«неестественными», сверхъестественными, как жидкость воздуха. Подобного состояния души не бывает; по крайней мере, в доступных нашему исследованию, культурно-исторических и бытовых условиях – не бывает; но оно может быть, потому что мир духовный так же, как вещественный, «полон, – по выражению Леонардо да Винчи, – неисчислимыми возможностями, которые еще никогда не воплощались». Этого не бывает, и, однако, это более, чем естественно, это есть.

Так называемая «психология» Достоевского напоминает огромную лабораторию с тончайшими и точнейшими приборами, машинами для измерения, исследования, испытывания душ человеческих. Легко себе представить, что непосвященным лаборатория эта должна казаться чем-то вроде «дьявольской кухни» средневековых алхимиков.

Впрочем, некоторые из его научных опытов действительно могут быть и не совсем безопасны для самого исследователя. Нам, по крайней мере, иногда становится страшно за него. Ведь глаза его впервые видят то, что, казалось, не позволено видеть глазам человеческим. Он сходит в «глубины», в которые еще никогда никто не сходил. Вернется ли? Справится ли с теми силами, которые вызвал? Что, если они прорвут очерченный им заколдованный круг? Нам страшно за бесстрашного. В этой **отваге исследования, которая ни перед чем не останавливается**, в этой потребности доходить во всем до конца, до «последней черты», переступить за пределы есть нечто в высшей степени современное, свойственное, если еще не всей европейской культуре, то, по крайней мере, уже европейской науке, и в то же время в высшей степени русское – то самое, что есть и у Л. Толстого: не с таким же ли дерзновенным любопытством, как Достоевский в «глубины души человеческой», в бездны духа, заглянул Л. Толстой в противоположные, но не меньшие бездны плоти? Впоследствии мы увидим, как они отвечают друг другу, точно сговорившись – как из их произведений чуждыми и все-таки родными голосами эти две бездны перекликаются.

...И вот все-таки – «жестокий талант». Упрек этот, как бы чувствонейшой, но личной досады, остается в сердце читателей, одаренных так называемую «душевною теплотою», которою иногда хотелось бы назвать «душевною оттепелью». Зачем эти острые «жала», эти крайности, этот «лед и огонь»? Зачем не подбрее, не потеплее или не попрохладнее? – Что ж, может быть, они и правы, может быть, действительно, Достоевский – «жесток», даже более жесток, хотя уж, конечно, и более милосерд, чем они могут себе представить. И если даже цель его жестокости – знание, то ведь в глазах людей с теплыми, не холодными и горячими, а именно только теплыми душами, эта цель не оправдывает средства. Не позволено ли было бы, однако, усомниться: такой ли уж он, в самом деле, «жестокий талант» и для них, как они уверяют? Существуют яды, которые убивают человека, но не действуют на животных. **Может быть, именно для тех, кому Достоевский кажется жестоким, только «жестоким талантом», – самые главные жестокости его, самые смертельные жала и яды останутся навеки безвредными...»**¹¹¹

И еще: «Свидригайлов выходит из сна; и сам он весь точно сон, точно густой, грязно-желтый петербургский туман. Но если это и «призрак», то призрак с плотью и кровью. В этом главный ужас его. В нем нет ничего романтического, неясного, неопределенного, отвлеченного. В действии романа Свидригайлов все более и более воплощается, так что в конце концов он оказывается реальнее, чем «кровяные», «мясистые», задушенные кровью и мясом, герои Л. Толстого – какой-нибудь Левин или Пьер Безухов. Те состоят лишь из геометрически правильных, простых, прямых, параллельных, а этот из живых, бесконечно сложных, извилистых, как будто противоречивых, на самом деле только противоположных и переплетающихся, пересекающихся черт, как все живое. Так, мы узнаем, что этот «самый порочный из людей», «мерзавец», способен на рыцарское великодушие, на утонченное и бескорыстное чувство: когда сестра

¹¹¹ Мережковский Д.С. Цит. соч., сс. 123 – 125.

Раскольников, Дуня, невинная девушка, которую Свидригайлов заманил, чтобы изнасиловать, в западню, – уже в совершенной власти его, он вдруг отпускает ее, не тронув, хотя знает наверное, что это насилие над собою будет ему стоить жизни, что он убьет себя. Перед самою смертью он заботится просто и самоотверженно, как о родной дочери, о почти незнакомой ему девочке-сиротке, которую сначала хотел растлить, и обеспечивает ее судьбу. Вместе с тем, на совести Свидригайлова – уголовное дело, «с примесью зверского и, так сказать, фантастического душегубства, за которое он весьма и весьма мог бы прогуляться в Сибирь». Ну, как не поверить нам, что он есть? Мы слышим звук его голоса, видим лицо его, так что сразу «из тысячи узнаем». Он для нас живее, действительнее, чем множество лиц, которых мы каждый день встречаем в так называемой «жизни» и «действительности». Да разве мы и не встречали Свидригайлова на улицах Петербурга? В наши самые отвратительные дни, когда падает «мокрый, точно теплый, снег», когда от оттепели душно, словно парит, – не он ли наполняет «фантастический» город? Не им ли пахнет грязно-желтый петербургский туман? *Как это ни странно и ни страшно, а ведь кровь и плоть этого «призрака» в значительной мере – наша собственная кровь и плоть*.¹¹² (Выделено мной. – С.Н.).

Так реальные и потенциальные жертвы «особого подпольного» человека сами превращаются в «подпольных» людей. «Подпольность» становится одним из общечеловеческих качеств и, тем самым, принимает универсальный облик. Спасение от этой эпидемии «подпольности» Мережковский видел в повороте нашего сознания к созидающей религиозной мысли. Но такова ли оценка «подпольности» и вывод самого Достоевского? Обратимся к тексту романа «Преступление и наказание».

С самого его начала, на мой взгляд, обнаруживается, что Раскольников – духовный «родственник» семейного учителя Ивана Алексеевича – героя «Игрока». Разрушить логику неудовлетворяющей его жизни, не

¹¹² Там же, сс. 139 – 140.

«постепенством» дел, а одним рывком, «показав судьбе язык», вырваться из круга жизни – его цель. «- Ну зачем я теперь иду?», - спрашивает себя Раскольников, направляясь к дому старухи-процентщицы «сделать пробу». «- Разве я способен на *это*? Разве *это* серьезно? Совсем не серьезно. Так, ради фантазии сам себя тешу; игрушки! Да, пожалуй что и игрушки!»¹¹³ Снова «игрушки», «игра», «игрок»...

Однако «игрушки» не оставляют его. Вот уж месяц, с горечью сознается он себе, он обдумывает свое предприятие (а учитель Иван Алексеевич от мыслей об игре так и во всю жизнь не избавился. – С.Н.) и в одной из бесед с посторонним человеком – хозяйкиной служанкой Настасьей формулирует определенно:

«- За детей (уроки, даваемые детям. – С.Н.) медью платят. Что на копейки сделаешь? - продолжал он с неохотой, как бы отвечая собственным мыслям.

- А тебе бы сразу весь капитал?

Он странно посмотрел на нее.

- Да, весь капитал, - твердо отвечал он помолчав»¹¹⁴.

Увиденные Мережковским на улицах Петербурга «призраки Свидригайлова» плотно населяют все романное пространство Достоевского. «Подпольные» люди не только центральные герои Ф.М., но и, по его убеждению, часть фактически любого человека, стоит лишь ему в себе самому или с чьей-нибудь помощью поглубже покопаться. (Впереди у нас «Братья Карамазовы» и пока лишь к слову замечу, что даже и Алеша – один из сконструированных почти что святых «новых» людей в разговоре с братом Иваном, на его вопрос, что нужно было бы сделать с помещиком, затравившем собаками ребенка, отвечает «убить». А от этого словца – всего лишь шаг до подпольного «своеволия» и превращения кого-нибудь в «выжженный след». – С.Н.) Какая-то «степень давления нравственных

¹¹³ Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений в тридцати томах. Л., Наука, 1973. Т. 6, с. 6.

¹¹⁴ Там же, с. 27.

атмосфер», какой-то примененный к любому человеку «огонь белого каления», полагает Достоевский, с неизбежностью позволит докопаться до самого низменного.

Метафизическую природу Раскольникова с его «идеей» в романе предваряет сжато обрисованная, но от этого не менее интересная и сложная фигура титулярного советника Мармеладова. В конструировании образа центрального героя он выполняет двоякую роль. Во-первых, своими откровениями и житейскими наблюдениями помогает нам создать более глубокое представление об образе бывшего студента. И, во-вторых, в своей интерпретации знакомит нас с тем, что намерен совершить Раскольников, поскольку сам Мармеладов в известном смысле нечто похожее над своими близкими уже совершил. Не в этом ли кроется и одна из причин симпатии, которую Раскольников к нему испытывает?

Нищета вообще, в том числе и та, в которой пребывает Раскольников, в убеждении и трактовке бывшего чиновника, есть основание, по которому другие люди выметают нищего из человеческой компании метлой. Очевидно, что это не справедливо и косвенно нам дается понять, что у потерпевшего появляется законное право на удовлетворение за содеянную несправедливость. (При этом грань о «законности» удовлетворения за несправедливость, которую проповедует Мармеладов и которую, кажется, разделяет сам Достоевский, оказывается чрезвычайно тонкой).

Мармеладов, далее, своей манерой вести беседу задает один логический ход, который играет важную роль и даже выступает концептуальным основанием, на котором в дальнейшем строит свое самооправдание сам Раскольников. На вопрос хозяина трактира, «почему Мармеладов не служит» или, иными словами, «почему живет так, как живет», тот отвечает: «А разве сердце у меня не болит о том, что я пресмыкаюсь втуне?» Замечу, что и Раскольников в «обоснование» убийства старухи ставит необходимость проверки самого себя: способен ли он быть «особым» человеком? Только если Мармеладов основанием избирает чувство, то Раскольников – «идею».

Очевидно, что у обоих «подпольных» персонажей, равно как и у «подпольных» людей вообще, действие, произошедшее и произведенное на основе чего-то темного и внутреннего имеет только один источник и «оправдание» в их собственных глазах – его (этого темного) желательность и органичность для них самих. При этом, эти «особые» в своей эгоистичности природы таковы, что любые другие люди, «внешние» по отношению к их собственному внутреннему состоянию и интересу, во внимание не принимаются. И сравнивая Раскольникова с Мармеладовым, можно было бы и заключить, что Родион Романович, пожалуй, и меньший злодей, чем Семен Захарыч: он чужих людей убил и притом сразу, а Мармеладов убивает собственную жену и детей и, к тому же, постепенно, то есть многократно. (Вспомним подробные описания нравственных страданий ставшей проституткой Сони, «красные пятна и кашель» Катерины Ивановны, голод и слезы детей, о которых живописует пропивший украденные у семьи деньги Мармеладов. – С.Н.)

«Подпольные», что далее демонстрирует опять-таки Мармеладов, весьма неохотно соглашаются принять содеянное ими над другими людьми зло на свой собственный счет. Весь роман Раскольников страдает от того, что... «принципа не выдержал», не «оказался Наполеоном». Ни разу мы не слышим от него раскаяния в том, что он отнял чужие жизни. Да и само повествование о его так называемом раскаянии ведется Достоевским в «Эпилоге», то есть в кратком конспективном пересказе завершающей части истории. (Вспомним о верном замечании В. Шкловского, что писатели тогда прибегают к «договариванию» своих произведений – то есть к эпилогам, когда их произведение на самом деле «не кончено, недорешено»¹¹⁵). Наверное, и для

¹¹⁵ «Очень часто идеологическая нерешенность темы, сомнения писателя заставляют автора в конце или отсылать читателя к следующим романам, к следующим частям, которые он не напишет (так не написал Толстой истории Нехлюдова, хотя и обещал это сделать), иногда же давать ироническую оценку конца.

Вальтер Скотт в одном своем романе сравнивал эпилоги с остатками зеленого чая в чашке, который не допила женщина: на дне чашки осталось немного чая и слишком много сахара». И еще: «В эпилоге устраивается жизнь людей, уже умерших для писателя. Там сводятся концы с концами.

Достоевского осталась неразрешимой проблема истинного раскаяния Раскольникова - признание им вины не за то, что ошибся, причислив себя к «избранным», а за то, что отнял не им данное – жизни других людей).

Впрочем, эта особенность «подпольных» не признавать содеянного ими зла столь не вписывается в человеческую логику, в обычные представления людей, что этот факт – «ненаправленности» раскаяния Раскольникова на других людей, а лишь объяснением самому себе логики совершенного – многими исследователями оставляется без внимания. Так, даже такой глубокий знаток философии и литературы как Ю.Н. Давыдов, отмечает: «Когда же наступил момент раскаяния, побудившего убийцу с ясностью и отчетливостью осознать истинные мотивы своего преступления, кульминационным пунктом которого был разговор с Соней Мармеладовой, Раскольников ... заговорил иначе». Как же иначе? В чем раскаивается Раскольников? Выясняется, что убийство «был единственно возможный способ доказать собственную гениальность самому себе. ... Смогу ли я переступить или не смогу? Осмелюсь ли нагнуться и взять или нет? Тварь ли я дрожащая или *право* имею...»¹¹⁶

Но, согласимся, без адресации раскаяния не только к себе, но и в первую очередь к другим (убитым), и осуждение себя именно и прежде всего за то, что отнял чужие жизни, - именно это и должно быть основой подлинного раскаяния. У Раскольникова же в основном тексте романа есть лишь раскаяние – понимание себя как «слабого». Что же до раскаяния, адресованного к жертвам и осуждение себя, то об этом мы узнаем лишь в авторском пересказе, в «договаривании» - эпилоге.

Вот и Мармеладов тот факт, что его дочь «пошла по желтому билету», найдя в этом единственное средство вместо пьяницы-отца содержать семью, преподносит это Раскольникову не напрямую, а как-то косвенно: «со

Про эпилоги писал Теккерей, что в них писатель наносит удары, от которых никому не больно, и выдает деньги, на которые ничего нельзя купить». Шкловский В. «За и против. Заметки о Достоевском. М., Советский писатель, 1957, с. 176, с. 185.

¹¹⁶ Давыдов Ю.Н. Любовь и свобода. М., Астрель, 2008, сс. 359 – 360.

смирением к сему отношусь». И его последующий, казалось бы, прямой вопрос: «ну не свинья ли я?», звучит вполне оправдательно, поскольку тут же к этой справедливой констатации он добавляет (на самом деле – перескакивает на новую тему, уводящую в сторону от того факта, что он и в самом деле мерзавец), что его жена – дама, образованная особа и штаб-офицерская дочь.

Избегают «подпольные» прямоты в отношении себя самих. И вряд ли ошибкой будет предположить, что эта их боязнь от того, что за такого рода прямотой для них неминуемо последовал бы вопрос: зачем же свое грязное и темное на свет тащите, сообразно с ним поступаете и других в «выжженный след» превращаете? Но не хотят они слышать вопроса, стараются не допустить даже возможность его.

Впрочем, именно в этом последнем проявлении «подпольных» Мармеладов являет отличие от Раскольниковова. Когда же вопрос о причине выпуска темного на свет и страданий от него не столько для «подпольных», сколько для других, все же возникает, Мармеладов – надо отдать ему должное – осмеливается заключить: «...такова уж черта моя, а я прирожденный скот!»¹¹⁷ Не доходит до этого Родион Романович и в этом Мармеладов оказывается честнее.

И еще одну черту «подпольных» раскрывает Мармеладов Раскольникову. Черта эта обнаруживается в истории о том, как после его краткого возвращения на службу он снова начал пить и как ходил к Соне за деньгами на похмелье. Говорит он об этом «с каким-то напускным лукавством и выделанным нахальством» и заключает вопросом: «Жаль вам теперь меня, сударь, али нет?»

Раскольников не отвечает и Мармеладов сообщает ему свою мечту о втором пришествии Христа и о неизбежном прощении его и ему подобных потому, что они сами не считают себя достойными прощения. А когда

¹¹⁷ Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений в тридцати томах. Л., Наука, 1973. Т. 6, с. 15.

прощение все же последует (в этом и смысл второго пришествия), то и они, грешные, и прочие «разумные», которые теперь их осуждают, «все поймут».

Что же «поймут» те, кто творит зло по отношению к ближним, и те, кто это зло претерпевает? Где же в этой мармеладовой уравнилельной апокалиптике место для раскаяния и покаяния? Не от этого ли – сознавая шулерское сокрытие ключевых вопросов – Мармеладов и держится «с каким-то напускным лукавством и выделанным нахальством»?

Вопросы эти имеют прямое отношение к теме «подпольного» человека, поскольку Семен Захарович этому типу полностью соответствует: непрерывно извлекает из себя темное, всю свою подлость отчетливо сознает и, тем не менее, продолжает так «сострадать» своим ближним, что оставляет от них только «выжженный след».

По выходу романа тема «подпольного» и материализации темных глубин его сознания не ускользнула от внимания критиков. И среди наиболее значимых откликов нельзя не назвать рецензию постоянного «друга-врага» Достоевского – публициста, литературного критика и писателя Н.Н. Страхова¹¹⁸. Не рассматривая страховские статьи о романе подробно, отмечу

¹¹⁸ О взаимоотношениях этих людей стоит упомянуть для лучшего понимания не столько Страхова, сколько Достоевского. Друг к другу ими было написано множество писем, Страхов был свидетелем на свадьбе автора «Преступления и наказания», часто бывал в его доме. Вместе с тем, в своих письмах к близким критик отзывался о Достоевском как об «ужасно самолюбивом и себялюбивом» человеке. Достоевский же характеризовал Страхова как человека, который всю жизнь «сидит на мягком, кушать любит индеек, и не своих, а за чужим столом». У него нет «никакого гражданского чувства и долга, никакого негодования к какой-нибудь гадости, а напротив, он и сам делает гадости; несмотря на свой строго нравственный вид, втайне сладострастен и за какую-нибудь жирную грубо-сладострастную пакость готов продать всех и все, и гражданский долг, которого не ощущает, и работу, до которой ему все равно, и идеал, которого у него не бывает, и не потому, что он не верит в идеал, а из-за грубой коры жира, из-за которой не может ничего чувствовать».

Предполагается, что когда при разборе архива Страхов прочел это письмо, он в отместку написал Л. Толстому свое письмо о Достоевском. Говоря о написании им биографии Достоевского, он сообщает Толстому и о том «чувстве отвращения», которое неотступно сопровождало его во время работы. Достоевский, по его словам, был «зол, завистлив, развратен», «всю жизнь провел в таких волнениях, которые делали его жалким и делали бы смешным, если бы он не был при этом так зол и так умен. ...В Швейцарии, при мне, он так помыкал слугою, что тот обиделся и выговорил ему: «Я ведь тоже человек!» ...Его тянуло к пакостям, и он хвалился ими. Висковатов стал мне рассказывать, как он похвалялся, что... в бане с маленькой девочкой, которую привела ему гувернантка.

лишь два симптоматичные утверждения. Первое: «Совершенно ясно, что автор изображает своего героя с полным состраданием к нему». И второе: «С невыразимым мучением он (Раскольников. – С.Н.) чувствует, что насилие, совершенное им над своей нравственной природой, составляет больший грех, чем самый акт убийства. Оно-то и есть настоящее преступление.

«Разве я старушку убил, - говорит он Соне. – Я *себя* убил, а не старушку. Так-таки разом и ухлопал себя навеки!.. А старушонку эту черт убил, а не я...» В этом заключается смысл романа...»,¹¹⁹ итожит критик.

Отмечу очень важный, поставленный Страховым вопрос. А именно: является ли убийство в себе заповеди Христа большим преступлением, чем убийство конкретное? В дальнейшем, в особенности при разборе романа «Братья Карамазовы», этот вопрос нам очень понадобится. А пока вернусь к полемике.

Следует отметить, что сам Родион Романович, поданный Страховым как персонаж, встроенный в контекст христианства, в романе в таком качестве не представлен. Исключением может служить, пожалуй, сделанное одно Раскольниковым признание в приятии христианства во время разговора со следователем Порфирием Петровичем. И хотя критиками акцентируется и сильно преувеличивается роль Сони в возвращении Раскольникова на путь веры, в том числе и до такой степени, что его «ожесточенная душа не выдерживает и размягчается до чувства умиления», а сам Раскольников якобы переживает даже «воскресение»¹²⁰, на самом деле этого в произведении нет.

Заметьте при этом, что при животном сладострастии у него не было никакого вкуса, никакого чувства женской красоты и прелести. Это видно в его романах. Лица, наиболее на него похожие, - это герой «Записок из подполья», Свидригайлов в «Преступлении и наказании» и Ставрогин в «Бесах».

...При такой натуре он был расположен к сладкой сентиментальности, к высоким и гуманным мечтаниям, и эти мечтания – его направление, его литературная музыка и дорога. В сущности, впрочем, все его романы составляют самооправдание, доказывают, что в человеке могут ужиться с благородством всякие мерзости». Цит. по кн.: Достоевский. Энциклопедия. Составитель Н.Н. Наседкин. М., Эксмо, 2008, сс. 733 – 734.

¹¹⁹ Страхов Н.Н. «Ф.М. Достоевский. Преступление и наказание. Статья первая». В кн.: «Библиотека русской критики. Критика 60-х годов XIX века». М., Астрель, 2003, с. 379.

¹²⁰ Там же, сс. 392 – 393.

В романе читаем: «Под подушкой его лежало Евангелие. Он взял его машинально. Эта книга принадлежала ей, была та самая, из которой она читала ему о воскресении Лазаря. В начале каторги он думал, что она замучит его религией, будет заговаривать о Евангелии и навязывать ему книги. Но, к величайшему его удивлению, она ни разу не заговаривала об этом, ни разу даже не предложила ему Евангелия. Он сам попросил его у ней незадолго до своей болезни, и она молча принесла ему книгу. До сих пор он ее и не раскрывал.

Он не раскрыл ее и теперь, но одна мысль промелькнула в нем: "Разве могут ее убеждения не быть теперь и моими убеждениями? Ее чувства, ее стремления, по крайней мере..."

...Но тут уж начинается новая история, история постепенного обновления человека, история постепенного перерождения его, постепенного перехода из одного мира в другой, знакомства с новой, доселе совершенно неведомою действительностью»¹²¹.

При всей кажущейся ясности случившегося в романе единодушия по поводу убийства старухи и ее сестры все-таки нет. Я только что ссылался на мнение Страхова о том, что насилие над своей нравственной природой, составляет больший грех, чем самый акт убийства. В подкрепление этому критик приводит слова Сони, сказанные Раскольникову: «Что вы над собой сделали! ...Нет тебя несчастнее никого теперь в целом свете!»¹²²

А вот как понимает убийство Д. Мережковский: «Раскольников убивает старуху, чтобы доказать себе самому, что он уже «по ту сторону добра и зла», что он – не «дрожащая тварь», а «властелин». Но Раскольников, по замыслу Достоевского, должен понять, что ошибся, убил не «принцип», а только старуху, не «переступил», а только хотел переступить. И когда он это поймет, – должен ослабеть, испугаться, выйти на площадь и, став на колени, исповедываться перед толпою».¹²³ В первой трактовке (по Страхову)

¹²¹ Достоевский Ф.М. Цит. соч., с. 422.

¹²² Страхов Н.Н. Цит. соч., с. 379.

¹²³ Мережковский Д.С. Цит. соч., с. 120.

Раскольников убивает свой нравственный принцип. Во второй (по Мережковскому) – не принцип, а «только» старуху.

Метафизический замысел Раскольникова был изложен в его статье, о которой в известном месте романа у него происходит разговор со следователем Порфирием Петровичем. «Всё дело в том, - говорит Порфирий, - что в ихней статье все люди как-то разделяются на "обыкновенных" и "необыкновенных". Обыкновенные должны жить в послушании и не имеют права переступать закона, потому что они, видите ли, обыкновенные. А необыкновенные имеют право делать всякие преступления и всячески преступать закон, собственно потому, что они необыкновенные. Так у вас, кажется, если только не ошибаюсь?

- Да как же это? Быть не может, чтобы так! - в недоумении бормотал Разумихин.

Раскольников усмехнулся опять. Он разом понял, в чем дело и на что его хотят натолкнуть; он помнил свою статью. Он решился принять вызов.

- Это не совсем так у меня, - начал он просто и скромно. - Впрочем, признаюсь, вы почти верно ее изложили, даже, если хотите, и совершенно верно... (Ему точно приятно было согласиться, что совершенно верно). Разница единственно в том, что я вовсе не настаиваю, чтобы необыкновенные люди непременно должны и обязаны были творить всегда всякие бесчинства, как вы говорите. Мне кажется даже, что такую статью и в печать бы не пропустили. Я просто-запросто намекнул, что "необыкновенный" человек имеет право... то есть не официальное право, а сам имеет право разрешить своей совести перешагнуть... через иные препятствия, и единственно в том только случае, если исполнение его идеи (иногда спасительной, может быть, для всего человечества) того потребует. Вы изволите говорить, что статья моя неясна; я готов ее вам разъяснить, по возможности. Я, может быть, не ошибусь, предполагая, что вам, кажется, того и хочется; извольте-с. По-моему, если бы Кеплеровы и Ньютоновы открытия вследствие каких-нибудь комбинаций никоим образом не могли бы

стать известными людям иначе как с пожертвованием жизни одного, десяти, ста и так далее человек, мешавших бы этому открытию или ставших бы на пути как препятствие, то Ньютон имел бы право, и даже был бы обязан... *устранить* этих десять или сто человек, чтобы сделать известными свои открытия всему человечеству. Из этого, впрочем, вовсе не следует, чтобы Ньютон имел право убивать кого вздумается, встречных и поперечных, или воровать каждый день на базаре. Далее, помнится мне, я развиваю в моей статье, что все... ну, например, хоть законодатели и установители человечества, начиная с древнейших, продолжая Ликургами, Солонами, Магометами, Наполеонами и так далее, все до единого были преступники, уже тем одним, что, давая новый закон, тем самым нарушали древний, свято чтимый обществом и от отцов перешедший, и, уж конечно, не останавливались и перед кровью, если только кровь (иногда совсем невинная и доблестно пролитая за древний закон) могла им помочь. Замечательно даже, что большая часть этих благодетелей и установителей человечества были особенно страшные кровопроливцы. Одним словом, я вывожу, что и все, не то что великие, но и чуть-чуть из колеи выходящие люди, то есть чуть-чуть даже способные сказать что-нибудь новенькое, должны, по природе своей, быть непременно преступниками, - более или менее, разумеется. Иначе трудно им выйти из колеи, а оставаться в колее они, конечно, не могут согласиться, опять-таки по природе своей, а по-моему, так даже и обязаны не соглашаться.

...Преступления этих людей, разумеется, относительно и многообразны; большею частью они требуют, в весьма разнообразных заявлениях, разрушения настоящего во имя лучшего. Но если ему надо, для своей идеи, перешагнуть хотя бы и через труп, через кровь, то он внутри себя, по совести, может, по-моему, дать себе разрешение перешагнуть через кровь, - смотря, впрочем, по идее и по размерам ее, - это заметьте. В этом только смысле я и говорю в моей статье об их праве на преступление».¹²⁴

¹²⁴ Достоевский Ф.М. Цит. соч., сс. 199 - 200.

На вопрос Порфирия, как отличить людей «первого разряда», обыкновенных, от «разряда второго» - особенных, Раскольников поясняет, что право «второго разряда» на кровь принимается и ими самими, и обществом, как естественное. А если кто-либо из «первого разряда» ошибочно отнес себя к особенным и кровь пролил, то они настолько «благонравны», что и сами раскаются, и сами себя высекут, то есть свою ошибку включения во «второй разряд» тут же обнаружат.

В трактовках Страхова и Мережковского оказывается, что Раскольников страдает от разных вещей. У Мережковского - от того, что оказался из «первого разряда» - «права не имеющих». И это верно. Страхов же полагает, что Раскольников под влиянием Сони раскаялся в самом убийстве и страдает, потому что убил. Когда Страхов излагает разговор Раскольникова с Соней, то он не замечает, что его слова «я себя убил» - крик отчаяния от несбывшейся собственной надежды, прощание с мечтой принадлежать ко «второму», высшему разряду. Соня же смотрит на это иначе - с позиций христианского принципа «не убий» и потому ее слова «что вы с собой сделали, нет тебя несчастнее никого в целом свете» - слова об ином. Для Раскольникова они пусты и произносящая их Соня мало для него значит. Поэтому слова Страхова: «...В первый раз перед нами изображен нигилист несчастный, нигилист глубоко человечески страдающий»¹²⁵ - далеки от истины.

В связи с квалификацией Раскольникова в качестве «нигилиста» или разновидности «подпольного» любопытно задать вопрос, который лишь на первый взгляд кажется очевидным: если Раскольников понимает, что право быть в числе особых имеют люди, действительно имеющие в себе нечто особенное, обусловленное тем, что они в самом деле могли бы сообщить или сделать для человечества нечто выдающееся, то почему он надеется на особость со своими вполне обыденными мотивировками убийства: помочь матери и сестре; облегчить себе первые шаги в жизни; убить «вошь» зловредную, от которой всем только несчастья? Иными словами, где те

¹²⁵ Страхов Н.Н. Цит. соч., с. 379.

признаки гениальности, которые, как полагает Раскольников в качестве автора статьи, право дают и даже требуют в иных случаях кровь пролить? Не находит их в себе и потому не говорит о них Родион Романович и тогда, когда развернуто формулирует свое деяние и наступившее за тем положение:

«"Нет, те люди не так сделаны; настоящий *властелин*, кому всё разрешается, громит Тулон, делает резню в Париже, *забывает* армию в Египте, *тратит* полмиллиона людей в московском походе и отделяется каламбуром в Вильне; и ему же, по смерти, ставят кумиры, - а стало быть, и *всё* разрешается. Нет, на таких людях, видно, не тело, а бронза!"

Одна внезапная посторонняя мысль вдруг почти рассмешила его:

"Наполеон, пирамиды, Ватерлоо - и тощая гаденькая регистраторша, старушонка, процентщица, с красною укладкою под кроватью, - ну каково это переварить хоть бы Порфирию Петровичу!.. Где ж им переварить!.. Эстетика помешает: полезет ли, дескать, Наполеон под кровать к "старушонке"! Эх, дрянь!.."

Минутами он чувствовал, что как бы бредит: он впадал в лихорадочно-восторженное настроение.

"Старушонка вздор! - думал он горячо и порывисто, - старуха, пожалуй что, и ошибка, не в ней и дело! Старуха была только болезнь... я переступить поскорее хотел... я не человека убил, я принцип убил! Принцип-то я и убил, а переступить-то не переступил, на этой стороне остался... Только и сумел, что убить. Да и того не сумел, оказывается... Принцип? За что давеча дурачок Разумихин социалистов бранил? Трудолюбивый народ и торговый; "общим счастьем" занимаются... Нет, мне жизнь однажды дается, и никогда ее больше не будет: я не хочу дожидаться "всеобщего счастья". Я и сам хочу жить, а то лучше уж и не жить. Что ж? Я только не захотел проходить мимо голодной матери, зажимая в кармане свой рубль, в ожидании "всеобщего счастья". "Несу, дескать, кирпичик на всеобщее счастье и оттого ощущаю спокойствие сердца". Ха-ха! Зачем же вы меня-то пропустили? Я ведь всего однажды живу, я ведь тоже хочу... Эх, эстетическая я вошь, и больше ничего,

- прибавил он вдруг рассмеявшись, как помешанный. - Да, я действительно вошь, - продолжал он, с злорадством прицепившись к мысли, роясь в ней, играя и потешаясь ею, - и уж по тому одному, что, во-первых, теперь рассуждаю про то, что я вошь; потому, во-вторых, что целый месяц всеблагое провидение беспокоил, призывая в свидетели, что не для своей, дескать, плоти и похоти предпринимаю, а имею в виду великолепную и приятную цель, - ха-ха! Потому, в-третьих, что возможную справедливость положил наблюдать в исполнении, вес и меру, и арифметику: из всех вшей выбрал самую наименее полезную и, убив ее, положил взять у нее ровно столько, сколько мне надо для первого шага, и ни больше ни меньше (а остальное, стало быть, так и пошло бы на монастырь, по духовному завещанию - ха-ха!)... Потому, потому я окончательно вошь, - прибавил он, скрежеща зубами, - потому что сам-то я, может быть, еще сквернее и гаже, чем убитая вошь, и заранее *предчувствовал*, что скажу себе это уже *после* того, как убью! Да разве с таким ужасом что-нибудь может сравниться! О, пошлость! О, подлость!.. О, как я понимаю "пророка", с саблей, на коне. Велит Аллах, и повинуйся "дрожащая" тварь! Прав, прав "пророк", когда ставит где-нибудь поперек улицы хор-р-рошую батарею и дует в правого и виноватого, не удостоивая даже и объясниться! Повинуйся, дрожащая тварь, и - *не желай*, потому - не твое это дело!.. О, ни за что, ни за что не прошу старушонке!"»¹²⁶

Мне представляется, что приведенные мысли вполне укладываются в предлагаемую мной трактовку: «подпольные» в обоснованиях, тем более в фундаментальных, не нуждаются. Раскольникову они не нужны. Мармеладов обоснований не ищет. Напротив, говорит: скот я. Не нужны обоснования и Свидригайлову, бывшему шулером в столице, куролесившему в деревне, очевидно, отравившему жену и пытавшемуся обмануть Дуню. И таким образом оказывается, что без обязательности умствований и обоснований, «подпольность» - признак не только деспотов и злодеев. Она и в самом деле универсальная человеческая черта, становящаяся характеристикой отдельной

¹²⁶ Достоевский Ф.М. Цит. соч., сс. 211 – 212.

личности при определенном с ее стороны моральном попустительстве и при определенных обстоятельствах. К этому и еще один пример.

Есть ли свойства «подпольного» человека у жены раздавленного Мармеладова - несчастной Катерины Ивановны? В определенном смысле «да». Вспомним ее намерение устроить поминки по покойному мужу и ее поведение за столом. Вопреки здравому смыслу на них «ухлопана» половина денег, оставленных Раскольниковым. Они – явное «своеволие» вдовы, использующей для его (своеволия) обоснования изощренные, логически безупречные только для нее одной доводы. По отношению к приглашенным «гостям» она не только не гостеприимна или хотя бы терпима, но прямо – чувствуя свое минутное «право» на своеволие - изощренно-язвительна, нарочито-оскорбительна, вызывающе-безжалостна.

Послушаем автора: «Катерине Ивановне захотелось, именно при этом случае, именно в ту минуту, когда она, казалось бы, всеми на свете оставлена, показать всем этим "ничтожным и скверным жильцам", что она не только "умеет жить и умеет принять", но что совсем даже не для такой доли и была воспитана, а воспитана была в "благородном, можно даже сказать, в аристократическом полковничьем доме", и уж вовсе не для того готовилась, чтобы самой мести пол и мыть по ночам детские тряпки. Эти пароксизмы гордости и тщеславия посещают иногда самых бедных и забытых людей и, по временам, обращаются у них в раздражительную, неудержимую потребность.

...От природы была она характера смешливого, веселого и миролюбивого, но от непрерывных несчастий и неудач она до того *яростно* стала желать и требовать, чтобы все жили в мире и радости и *не смели* жить иначе, что самый легкий диссонанс в жизни, самая малейшая неудача стали приводить ее тотчас же чуть не в исступление, и она в один миг, после самых ярких надежд и фантазий, начинала клясть судьбу, рвать и метать всё, что ни попадало под руку, и колотиться головой об стену.

...Катерина Ивановна положила до времени не высказывать своих чувств, хотя и решила в своем сердце, что Амалию Ивановну непременно

надо будет сегодня же осадить и напомнить ей ее настоящее место, а то она бог знает что об себе замечтает, покамест же обошлась с ней только холодно.

...Не явилась тоже и одна тонная дама с своею "перезрелую девою", дочерью, которые хотя и проживали всего только недели с две в номерах у Амалии Ивановны, но несколько уже раз жаловались на шум и крик, подымавшийся из комнаты Мармеладовых, особенно когда покойник возвращался пьяный домой, о чем, конечно, стало уже известно Катерине Ивановне через Амалию же Ивановну, когда та, бранясь с Катериной Ивановной и грозясь прогнать всю семью, кричала во всё горло, что они беспокоят "благородных жильцов, которых ноги не стоят". Катерина Ивановна нарочно положила теперь пригласить эту даму и ее дочь, которых "ноги она будто бы не стоила", тем более что до сих пор, при случайных встречах, та высокомерно отвертывалась, - так вот чтобы знала же она, что здесь "благороднее мыслят и чувствуют, и приглашают, не помня зла", и чтобы видели они, что Катерина Ивановна и не в такой доле привыкла жить. Об этом непременно предполагалось им объяснить за столом, равно как и о губернаторстве покойного папеньки, а вместе с тем косвенно заметить, что нечего было при встречах отворачиваться и что это было чрезвычайно глупо». ¹²⁷ Разве не «подпольные» рассуждения?

А вот одна из сцен за столом:

«- Во всем эта кукушка виновата. Вы понимаете, (обращается она к Раскольникову. – С.Н.) о ком я говорю: об ней, об ней! - и Катерина Ивановна закивала ему на хозяйку. - Смотрите на нее: вытаращила глаза, чувствует, что мы о ней говорим, да не может понять, и глаза вылупила. Фу, сова! ха-ха-ха!.. Кхи-кхи-кхи! И что это она хочет показать своим чепчиком! кхи-кхи-кхи! Заметили вы, ей всё хочется, чтобы все считали, что она покровительствует и мне честь делает, что присутствует. Я просила ее, как порядочную, пригласить народ получше и именно знакомых покойного, а смотрите, кого она привела: шуты какие-то! чумички! Посмотрите на этого с

¹²⁷ Достоевский Ф.М. Цит. соч., сс. 290 - 293.

нечистым лицом: это какая-то сопля на двух ногах! А эти полячишки... ха-ха-ха! Кхи-кхи-кхи! Никто, никто их никогда здесь не видывал, и я никогда не видала; ну зачем они пришли, я вас спрошу? Сидят чинно рядышком. Пане, гей! - закричала она вдруг одному из них, - взяли вы блинов? Возьмите еще! Пива выпейте, пива! Водки не хотите ли? Смотрите: вскочил, раскланивается, смотрите, смотрите: должно быть, совсем голодные, бедные! Ничего, пусть поедят. Не шумят, по крайней мере, только... только, право, я боюсь за хозяйские серебряные ложки!.. Амалия Ивановна! - обратилась она вдруг к ней, почти вслух, - если на случай покрадут ваши ложки, то я вам за них не отвечаю, предупреждаю заранее! Ха-ха-ха! - залилась она, обращаясь опять к Раскольникову, опять кивая ему на хозяйку и радуясь своей выходке. - Не поняла, опять не поняла! Сидит разиня рот, смотрите: сова, настоящая, сычиха в новых лентах, ха-ха-ха!»¹²⁸

Впрочем, приступы, а иногда и припадки «подпольности» случаются и у таких вполне достойных людей, как, например, Разумихин. Вот он сопровождает мать и сестру Раскольникова и, будучи сильно навеселе, откровенничает в отношении жениха Авдотьи Романовны: «...Вы не можете на меня сердиться за то, что я так говорю! Потому я искренно говорю, а не оттого, что... гм! это было бы подло; одним словом, не оттого, что я в вас... гм!.. ну, так и быть, не надо, не скажу отчего, не смею!.. А мы все давеча поняли, как он вошел, что этот человек не нашего общества. Не потому что он вошел завитой у парикмахера, не потому что он свой ум спешил выставлять, а потому что он соглядатай и спекулянт; потому что он жид и фигляр, и это видно. Вы думаете, он умен? Нет, он дурак, дурак! Ну, пара ли он вам? О боже мой! Видите, барыни, - остановился он вдруг, уже поднимаясь на лестницу в номера, - хоть они у меня там все пьяные, но зато все честные, и хоть мы и врем, потому ведь и я тоже вру, да до времся же

¹²⁸ Там же, с. 294.

наконец и до правды, потому что на благородной дороге стоим, а Петр Петрович... не на благородной дороге стоит»¹²⁹.

Как видим, внешнее проявление «подпольности» у собственно «подпольного» и нормального человека сходно. Однако в отличие от подлинно «подпольного», у нормального человека за приступом «подпольности» неизбежно следует осознание случившегося, раскаяние, а, возможно, и покаяние, которое с большой долей вероятности исключает подобное поведение в будущем. У «подпольного» же раскаяние вовсе не означает зарок повторения в будущем. Напротив, «подпольный» часто и завершает «раскаяние» обещанием нового приступа «подпольности» в будущем и свою даже гордыню по поводу неизменности своей природы.

Вернемся, однако, к проявлению «подпольности» и раскаянию в ней у нормального человека. Вот как это происходит с Разумихиным. На следующий за случившимся у него приступом «подпольности» день, «самым ужаснейшим воспоминанием его было то, как он оказался вчера "низок и гадок", не по тому одному, что был пьян, а потому, что ругал перед девушкой, пользуясь ее положением, из глупо-поспешной ревности, ее жениха, не зная не только их взаимных между собой отношений и обязательств, но даже и человека-то не зная порядочно. Да и какое право имел он судить о нем так поспешно и опрометчиво? И кто звал его в судьи! И разве может такое существо, как Авдотья Романовна, отдаваться недостойному человеку за деньги? Стало быть, есть же и в нем достоинства. Нумера? Да почему же он в самом деле мог узнать, что это такие нумера? Ведь готовит же он квартиру... фу, как это всё низко! И что за оправдание, что он был пьян? Глупая отговорка, еще более его унижающая! В вине - правда, и правда-то вот вся и высказалась, "то есть вся-то грязь его завистливого, грубого сердца высказалась"! И разве позволительна хоть сколько-нибудь такая мечта ему, Разумихину? Кто он сравнительно с такою девушкой, - он, пьяный буян и вчерашний хвостун? "Разве возможно такое

¹²⁹ Там же, с. 156.

циническое и смешное сопоставление?" Разумихин отчаянно покраснел при этой мысли, и вдруг, как нарочно, в это же самое мгновение, ясно припомнилось ему, как он говорил им вчера, стоя на лестнице, что хозяйка приревнует его к Авдотье Романовне... это уж было невыносимо. Со всего размаху ударил он кулаком по кухонной печке, повредил себе руку и вышиб один кирпич»¹³⁰.

Утверждая, что «подпольность» не только отличительный признак деспотов и злодеев, но, к сожалению, одна из универсальных человеческих черт, становящаяся характеристикой личности как при некоторых, иногда трагичных, обстоятельствах, так и при определенной с ее (личности) стороны моральной нечуткости и моральном попустительстве, я, наряду с прочим, соглашаюсь и с Д. Мережковским в том, что эту черту следует отнести не только на счет художественных персонажей Федора Михайловича, но и на его личный счет. «Самый необычайный из всех типов русской интеллигенции, - утверждал Мережковский, - человек из подполья, с губами, искривленными как будто вечною судорогою злости, с глазами, полными любви новой, еще неведомой миру... с тяжелым взором эпилептика, бывший петрашевец и каторжник, будущая противоестественная помесь реакционера с террористом, полубесноватый, полусвятой, Федор Михайлович Достоевский».¹³¹

Надо отметить, что эту точку зрения отстаивал и Лев Шестов, полагавший, что Европа признала Достоевского не столько как художника, сколько как апостола «подпольных» идей.¹³² Вряд ли апостол может представлять и выражать нечто чуждое, инородное ему. Именно так, через познание самого себя и на основе знания о себе самом художник создает свое представление (видение), свой образ современного ему мира.

Гениальность Достоевского в том, что ему удалось найти в человеке такие черты, которые если и не являются в полном смысле слова

¹³⁰ Там же, с. 160.

¹³¹ Мережковский Д.С. Полн. Собр. соч., т. XI, изд. М.О. Вольф, СПб. – М., 1914, с. 24.

¹³² Шестов Л. Достоевский и Ницше. Философия трагедии. М., Аст, 2001, с. 51.

универсальными и вневременными (иными словами, родовыми), то, по крайней мере, сопутствуют человеку длительный временной отрезок его исторического существования. И не важно, какие это были черты – добрые или злые, заслуживающие подражания или по мере возможности всяческого избежания или изживания.

Вместе с тем, нужно отметить, что точка зрения Мережковского и Шестова относительно «личной причастности» Федора Михайловича к создаваемым им персонажам неприемлема для многих исследователей творчества автора «Записок из подполья». И феномен этот нуждается в разъяснении, поскольку от верного ответа – как было или могло быть на самом деле - зависит не только взгляд на собственное творчество Достоевского, но и адекватность картины развития русского мировоззрения, которую я пытаюсь нарисовать.

В этой связи можно упомянуть об одной из знаковых фигур в ряду исследователей творчества великого писателя – о Валерии Яковлевиче Кирпотине, известном историке литературы, литературном критике и идеологическом функционере, писавшем от начала советских времен до конца XX столетия. Член ВКП(б) с 1918 года Кирпотин известен как секретарь Максима Горького. Но он не был простым исполнителем. Ему, например, принадлежала идея создания Союза писателей. Позднее он становится заместителем директора Ленинградского отделения института литературы и языка Комкадемии, членом редакции главного теоретического журнала большевиков «Проблемы марксизма», работает в ЦК партии, является секретарём оргкомитета Союза писателей СССР. Сделав карьеру в качестве ученого–идеолога, он, в частности, по заданию партии писал о Писареве, Салтыкове-Щедрине, Шолохове, в 1930 году выпустил книгу «Идейные предшественники марксизма-ленинизма в России», а в 1937 по заданию Сталина «Наследие Пушкина и коммунизм».

После войны Кирпотин возглавил Институт мировой литературы, но увлёкся полузапрещённым Достоевским, за что был уволен. По этому случаю он унизительно каялся, а заодно клеймил литературных «врагов» советской власти, в том числе М.М. Зощенко во время известного партийного шабаша 1946 года.

В период хрущевской оттепели, вернувшись к преподавательской работе, он выпустил шесть монографий о творчестве Достоевского, в которых в корне пересмотрел свои бывшие марксистские взгляды, много внимания уделил запретному Евангелию и утверждал, что без Христа нельзя понять ни автора «Преступления и наказания», ни мировую историю. В известном смысле Кирпотин, на мой взгляд, был типичным «человеком из подполья» советской эпохи и благодаря этому своему качеству глубоко ощущал творчество своего кумира - «подпольного человека» Достоевского.

Нетипичное для настоящего исследования подробное обращение к судьбе одного из ученых понадобилось мне для того, чтобы подчеркнуть простую мысль. Собственный жизненный путь определенным образом фокусирует зрение художника, создает угол зрения исследователя, вплоть до того, что заставляет одно видеть преувеличенно, а другое вовсе не замечать. И применительно к данному автору важное значение имеет его собственная «смена вех» - переход от ортодоксального марксизма к богоискательству. В этом контексте для «раскаявшегося грешника» жизненно важно было нахождение в своем предмете исследования идейно-теоретической опоры собственных сокровенных новых взглядов. Открыв для себя Достоевского, Кирпотин, как и некоторые другие исследователи творчества Ф.М., не могли в чем-либо не то что допустить разрушения образа своего кумира, но и поставить под сомнение какую-то часть его мировоззрения, так как в этом случае сами рисковали остаться в этом мире без веры.

Вот почему Кирпотин не может принять (и вопреки даже заявлениям самого Достоевского не принимает) тезиса о тождестве автора с его

«главным персонажем». Он прямо пишет: «Люди, стремившиеся превратить наследие Достоевского в исключительное достояние реакции, в непреложный аргумент против гуманизма, сливали Достоевского с подпольным человеком и отождествляли его мировоззрение с мирочувствованием подполья. Но, создавая свою повесть, Достоевский имел в душе – пусть спорный! – идеал совершенного, прекрасного и свободного человека, антиподом которого и является «подпольный»! Подпольный человек был ему отвратителен, и если он мог заниматься им как художник, то только потому, что сострадал ему, несчастному»¹³³.

Чтобы подкрепить тезис об авторском сострадании, требовалось, соответственно, во-первых, подтвердить, что «подпольные» Достоевскому «отвратительны», и, во-вторых, обнаружить у них такие качества, которые можно было посчитать заслуживающими сострадания. Представить свидетельства «отвращения» (при всем старании) Кирпотину не представилось возможным. Их просто не было. Достоевский вообще очень скуп на обнаружение личных пристрастий. Редко он говорит о них напрямую (как, например, в некоторых местах «Записок из мертвого дома»). Обычно они обнаруживаются другими способами, косвенно. «Отвращение» же, как и раскаяние, требуют внятного рассмотрения, анализа и неизбежного за ними покаяния и изменения. Этой цепочки у Достоевского нет. Правда, первый шаг на этом пути - отвращение «подпольных» к самим себе почти всегда обнаруживается. Но за этим – также всегда – следует нечто подобное сентенции «полюби нас черненькими, а беленькими нас всякий полюбит». «Подпольные» любят на свое собственное мерзкое, вызывающее отвращение нутро, даже ставят его (это нутро) себе чуть не в заслугу¹³⁴. Поэтому «подпольный» человек Раскольников не кается в отнятии жизней, а лишь страдает от того, что сам оказался «не избранным», который может

¹³³ Кирпотин В. Достоевский в шестидесятые годы. М., Художественная литература, 1966, с. 471.

¹³⁴ Забегая несколько вперед укажу на наиболее рельефные в этом отношении фигуры – на героев «Идиота» Лебедева и Ипполита.

легко через кровь переступить. Его страдание – от того, что он «открыл себя» всего лишь ничтожным «обыкновенным» человеком, каких миллионы, человеком, который даже из-за «малой» крови страдает. «Я не старуху убил. Я себя убил» - такова сентенция, знаменующая апофеоз себялюбия и эгоизма. И нигде в романе мы не находим намека на авторское «отвращение» по этому поводу к Раскольникову. И это, как представляется, не только потому, что изображает «подпольных» перо беспристрастного художника-реалиста, но и потому что «подпольность» – часть природы самого автора.

Впрочем, для доказательства авторского сострадания к «подпольным» есть и иной путь – найти в них качества людей достойных. И добросовестный исследователь творчества Достоевского Кирпотин старательно ищет. У него, в частности, оказывается, что «подпольный» человек настолько человек образованный, что, например, не может брать и не берет взятки. Он представляется Кирпотиним ни много – ни мало «аналитиком», чьи рефлексивные способности проистекают «из самых высоких философских конструкций века». Достоевский, оказывается, выбрал своего героя из начитанного, мыслящего меньшинства поколения сороковых годов¹³⁵.

Относительно этой явной исследовательской фантазии замечу, что «подпольные» у Достоевского никогда не изображались как сколько-нибудь образованные люди. И это относится не только к героям «Записок из подполья» и «Преступления и наказания», но также и к «подпольным» из других произведений. Таковы, например, «подпольные» из романа «Идиот» - «мальчишки» Бурдовский и Ипполит, не говоря уж об аналитических способностях и приязненности к «высоким философским конструкциям века» со стороны еще одного персонажа - полуграмотного Парфена Рогожина.

¹³⁵ Там же, с. 474.

Но если образованность – не сильная сторона «подпольного» человека, то в отношении его личных переживаний он, в самом деле, не может считаться человеком ординарным. Он, как мы видим, прежде всего глубоко чувствителен. И это – один из источников его нешуточного страдания.

«Подпольный» человек, далее, страдает также и от того, что не может сопрячь воедино слово и дело. И он не может сделать этого не только в своих отношениях с другими, но и в отношении самого себя, своей собственной жизни. «Болезнь подпольного человека заключалась не в самом сознании, а в противоречии между словом и делом, между убеждениями и поведением, в угрызениях совести, вызванных неспособностью подтвердить слово делом»¹³⁶, - отмечает Кирпотин.

Со своей стороны замечу, что в этом утверждении исследователь прав лишь отчасти. «Подпольный» человек рассматривается Достоевским в его эволюции. И если «подпольный» в «Записках» действительно страдает от невозможности соединить слово с делом, годами мечтая о мести офицеру, отодвинувшему его от биллиардного стола, то далее «подпольный» соединяет и даже увлекается реальным процессом соединения слова и дела. Первым эту границу перешагивает Раскольников, а вслед за ним все «подпольные» только и делают, что воплощают в жизнь свое грязное внутреннее содержимое. Этим, например, заняты все «подпольные» герои романа «Идиот», о чем буду говорить далее.

Продолжать перечень примеров, свидетельствующих о том, что «подпольные» люди порой действительно страдают, можно было бы долго. Однако, на мой взгляд, при анализе вопроса о страдании «подпольных» людей есть и иной путь – проверка страдания «подпольных» посредством обращения читателя к самому себе: сострадает ли он страдающим героям «подполья»? Испытывает ли он, например, чувство сострадания к

¹³⁶ Там же, с. 480.

Раскольникову, который – по собственным переживаниям – всего лишь ошибся в том, что не оказался принадлежащим к кагорте «право имеющих», при том, что ценой его ошибки стали две смерти? Сострадаем ли мы Мармеладову, живущему так, что от своих родных он оставляет только «выжженный след»? А вслед за этим неизбежно возникнут и вопросы о сострадании самому Федору Михайловичу. Во-первых, разделяем ли мы, читатели, его сострадание «подпольным» людям¹³⁷, если оно в самом деле имеет место, и, во-вторых, сострадаем ли мы самому Достоевскому, доводившему, например, свою безропотную жену Аню до отчаяния своей «слабостью» - игрой в рулетку?¹³⁸

Очевидно, что в тяжкие минуты своей жизни писатель совершал поступки, в чем-то родственные поступкам своих «подпольных» героев. Так, например, известно, что «от кредиторов, описи имущества и долговой тюрьмы Достоевский бежит за границу со 175 рублями в кармане. В конце июня 1865 года он приезжает в Висбаден и в пять дней проигрывает на рулетке все свои деньги»¹³⁹. Конечно, нельзя вообразить себя судьей Федору Михайловичу. Но то, что он, как утверждал Мережковский, прямой

¹³⁷ В том числе, верим ли мы им как, например, верил Раскольников любви покойного Мармеладова к своей жене: «Раскольников подошел к Катерине Ивановне.

- Катерина Ивановна, - начал он ей, - на прошлой неделе ваш покойный муж рассказал мне всю свою жизнь и все обстоятельства... Будьте уверены, что он говорил об вас с восторженным уважением. С этого вечера, когда я узнал, как он всем вам был предан и как особенно вас, Катерина Ивановна, уважал и любил, несмотря на свою несчастную слабость...» Достоевский Ф.М. Цит. соч., с. 145.

¹³⁸ Весь ужас такой жизни Анна Григорьевна переносила стоически. Достоевский писал: «Аня, милая, друг мой, жена моя, прости меня, не называй меня подлецом. Я сделал преступление, я все проиграл, что ты мне прислала, все, все, до последнего крейцера, вчера же получил и вчера проиграл!»; «Аня, милая, я хуже, чем скот! Вчера к 10 часам вечера был в чистом выигрыше 1300 фр. Сегодня – ни копейки. Все! Все проиграл!»; «Аня, милая, бесценная моя, я все проиграл, все, все! О, ангел мой... теперь... не буду более тебя обкрадывать, как скверный, гнусный вор!..»; «Милый мой ангел Нютя, я все проиграл, как приехал, в полчаса все и проиграл... Прости, Аня, я тебе жизнь отравил!..» Достоевский Ф.М., Достоевская А.Г. Переписка. Л., 1976, сс. 21, 25, 27, 29.

Анна Григорьевна по этому поводу замечала: «Я никогда не упрекала мужа за проигрыш, никогда не ссорилась с ним по этому поводу (муж очень ценил это свойство моего характера) и без ропота отдавала ему наши последние деньги». Достоевская А.Г. Воспоминания. М., 1987, с. 184.

¹³⁹ Белов С.В. Вокруг Достоевского. СПб, изд-во Санкт-Петербургского университета, 2001, с. 33.

родственник «подпольных», и обуславливает поиск ответа на вопрос об отношении не только к его героям, но и к их создателю, тем более что их и его мировоззрение в существенной степени схожи¹⁴⁰.

Этим своим качеством Достоевский при необходимости умело пользовался. Так, в «разумности» своей «слабости» - игре на рулетке – он не только убедил Анну Григорьевну, но и сделал ее своей сторонницей. Вот ее признание: «Все рассуждения Федора Михайловича по поводу возможности выиграть на рулетке при его методе игры были совершенно правильны, и удача могла быть полная, но при условии, если бы этот метод применял какой-нибудь хладнокровный англичанин или немец, а не такой нервный, увлекающийся и доходящий во всем до самых последних пределов человек, каким был мой муж»¹⁴¹

Достоевский – глубокий писатель и в своих исследованиях «подпольного» человека он следует не только по пути прямого анализа героев такого рода. Параллельно он избирает и окольный путь - рассматривает их через призму людей нормальных, а иногда и идеальных. Так, для того, чтобы оттенить «подпольного» человека Раскольникова в «Преступлении и наказании» в качестве его антипода писатель создает образ пристава следственных дел полицейской части Порфирия Петровича. Герой этот, как и другой явно «положительный» персонаж - товарищ Раскольникова Разумихин, нормален настолько, что не только умело противостоит всяческого рода «подпольности», но и выражает, кажется, единственно приемлемую и трезвую в этой ситуации точку зрения. Порфирий Петрович открыто заявляет, что по его мнению, внешние обстоятельства лишь в малой степени руководят человеком, решившимся

¹⁴⁰ В. Шкловский отмечает: «У Раскольникова, как и Достоевского, не только одинаковые враги, но и похожие мечты. Раскольников имеет социальный опыт Достоевского: в его биографии есть мысли, которые Достоевский знал, как свои собственные, но не развернул, скрыл, потому что иначе они привели бы студента к другим поступкам». Шкловский В. Цит. соч., с. 211.

¹⁴¹ Анна Достоевская. Воспоминания. Санкт-Петербург, Азбука-классика, 2011, сс. 165 – 166.

переступить закон. Главным образом решение проистекает из мировоззрения и нравственных качеств человека. Конечно, Порфирий Петрович хитер, иезуитски ловок и психологически изощрен, что может побудить иного читателя к его неприятию. Но не будем забывать, что он – профессиональный следователь, который имеет дело не с примитивным убийцей, совершившем свое деяние ради простого грабежа.

В лице Раскольникова¹⁴² мы наблюдаем изощренный ум, прослеживаем не только выход «подпольного» человека из «извращенно-рационального подполья» в реальность, но и еще нечто более важное – осуществленное единство «слова и дела», которое до сей поры никак не могло реализоваться у заурядных «подпольных» людей. От мечтаний о мести героя «Записок из подполья», от психологических пыток, изобретаемых и даже производимых Мармеладовым, поступок Раскольникова отличается в корне. В его образе «подпольный» человек пробует себя на роль властелина не только над отдельными людьми, но на роль властелина мира. Да, у Раскольникова «сорвалось», «кишка оказалась тонка», но ведь попытку он все же совершил, слово и дело соединил. И отсюда, из сырого и почти не пригодного для жизни Петербурга XIX столетия, от него, от русского человека Родиона Романовича Раскольникова протянется незримая ниточка сперва к отечественным «бомбистам», а затем и к немецкому ефрейтору Адольфу Алоизовичу Шикльгрубелю (Гитлеру).

Читая роман, чувствуешь, что не любит Федор Михайлович следователя Порфирия Петровича. Однако при том, что касается данного персонажа, то в

¹⁴² Хотел бы обратить внимание на еще одну характеристику «подпольного» человека, которую мы наблюдали ранее и которая присуща Раскольникову. Речь о желании «показать язык» судьбе. Вот это место в романе: «Неподвижное и серьезное лицо Раскольникова преобразилось в одно мгновение, и вдруг он залился опять тем же нервным хохотом, как давеча, как будто сам совершенно не в силах был сдержать себя. И в один миг припомнилось ему до чрезвычайной ясности ощущение одно недавнее мгновение, когда он стоял за дверью, с топором, запор прыгал, они за дверью ругались и ломились, а ему вдруг захотелось закричать им, ругаться с ними, высунуть им язык, дразнить их, смеяться, хохотать, хохотать, хохотать!» Достоевский Ф.М. Цит. соч., с. 126.

справедливым к нему отношении со стороны автора сомневаться, тем не менее, нельзя. По воле Достоевского сдержал слово Порфирий Петрович – оформил Раскольникову явку с повинной, снизив, а в чем-то и вовсе скрыв свою решающую роль расследователя, не соорудил из этого случая для себя очередную ступеньку в карьере. И потому на свадьбе Разумихина и Авдотьи Романовны, сестры Раскольникова, Порфирий Петрович – свидетель со стороны жениха, то есть принят среди порядочных людей.

А вот кого решительно (словом и делом) не любит Федор Михайлович, так это жениха Авдотьи Романовны – Петра Петровича Лужина. Впрочем и выведен этот персонаж таким образом, что любить его действительно, не за что. Однако не утерпел Федор Михайлович и присовокупил к этому образу ненавистные ему либеральные взгляды, существенно их исказив. Обнаруживаются они в разговоре Лужина с Раскольниковым, Разумихиным и Зосимовым во время его знакомства с больным Родионом.

«...Рад встречать молодежь: по ней узнаешь, что нового. - Петр Петрович с надеждой оглядел всех присутствующих.

- Это в каком отношении? - спросил Разумихин.

- В самом серьезном, так сказать, в самой сущности дела, - подхватил Петр Петрович, как бы обрадовавшись вопросу. - Я, видите ли, уже десять лет не посещал Петербурга. Все эти наши новости, реформы, идеи - всё это и до нас прикоснулось в провинции; но чтобы видеть яснее и видеть всё, надобно быть в Петербурге. Ну-с, а моя мысль именно такова, что всего больше заметишь и узнаешь, наблюдая молодые поколения наши. И признаюсь: порадовался...

- Чему именно?

- Вопрос ваш обширен. Могу ошибаться, но, кажется мне, нахожу более ясный взгляд, более, так сказать, критики; более деловитости...

- Это правда, - процедил Зосимов.

- Врешь ты, деловитости нет, - вцепился Разумихин. - Деловитость приобретается трудно, а с неба даром не слетает. А мы чуть не двести лет как от всякого дела отучены... Идеи-то, пожалуй, и бродят, - обратился он к Петру Петровичу, - и желание добра есть, хоть и детское; и честность даже найдется, несмотря на то что тут видимо-невидимо привалило мошенников, а деловитости все-таки нет! Деловитость в сапогах ходит.

- Не соглашусь с вами, - с видимым наслаждением возразил Петр Петрович, - конечно, есть увлечения, неправильности, но надо быть и снисходительным: увлечения свидетельствуют о горячности к делу и о той неправильной внешней обстановке, в которой находится дело.

Если же сделано мало, то ведь и времени было немного. О средствах и не говорю. По моему же личному взгляду, если хотите, даже нечто и сделано: распространены новые, полезные мысли, распространены некоторые новые, полезные сочинения, вместо прежних мечтательных и романических; литература принимает более зрелый оттенок; искоренено и осмеяно много вредных предубеждений... Одним словом, мы безвозвратно отрезали себя от прошедшего, а это, по-моему, уж дело-с...

- Затвердил! Рекомендуется, - произнес вдруг Раскольников.

- Что-с? - спросил Петр Петрович, не расслышав, но не получил ответа.

- Это всё справедливо, - поспешил вставить Зосимов.

- Не правда ли-с? - продолжал Петр Петрович, приятно взглянув на Зосимова. - Согласитесь сами, - продолжал он, обращаясь к Разумихину, но уже с оттенком некоторого торжества и превосходства, и чуть было не прибавил: "молодой человек", - что есть преуспевание, или, как говорят теперь, прогресс, хотя бы во имя науки и экономической правды...

- Общее место!

- Нет, не общее место-с! Если мне, например, до сих пор говорили: "возлюби", и я возлюблял, то что из того выходило? - продолжал Петр Петрович, может быть с излишнею поспешностью, - выходило то, что я рвал кафтан пополам, делился с ближним, и оба мы оставались наполовину голы,

по русской пословице: "Пойдешь за несколькими зайцами разом, и ни одного не достигнешь". Наука же говорит: возлюби, прежде всех, одного себя, ибо всё на свете на личном интересе основано. Возлюбишь одного себя, то и дела свои обделаешь как следует, и кафтан твой останется цел. Экономическая же правда прибавляет, что чем более в обществе устроенных частных дел и, так сказать, целых кафтанов, тем более для него твердых оснований и тем более устраивается в нем и общее дело. Стало быть, приобретая единственно и исключительно себе, я именно тем самым приобретаю как бы и всем и веду к тому, чтобы ближний получил несколько более рваного кафтана и уже не от частных, единичных щедрот, а вследствие всеобщего преуспевания. Мысль простая, но, к несчастью, слишком долго не приходившая, заслоненная восторженностью и мечтательностью, а казалось бы, немного надо остроумия, чтобы догадаться...»¹⁴³

Однако если Достоевский в принципе отказывается признать пагубность идеи разрывания кафтана пополам¹⁴⁴, то, похоже, у Разумихина иная точка зрения. Во-первых, он считает, что деловитость, о которой говорит Петр Петрович, не только не плоха, но, напротив, хороша и что ее в России даже и мало. И, во-вторых, несомненно радуя за развитие этой самой деловитости, Разумихин огорчен тем, что к этому «общему делу» «в последнее время

¹⁴³ Там же, сс. 115 - 116.

¹⁴⁴ Мысль о сбережении собственного кафтана прежде всего остального и любой ценой – один из тезисов, приписываемый автором «Преступления и наказания» ненавидимому им экономическому либерализму. Идея эта, имеющая к моему контексту анализа пока лишь косвенное отношение, тем не менее должна быть отмечена, так как понадобится в дальнейшем. Попутно замечу, что отчаянная борьба Достоевского против «экономического человека» вообще приветствуема не только его современниками, но и живущими сегодня исследователями, исхитрившимися так ничего и не понять в реалиях развивающегося мира. Так, в недавно вышедшей работе литературоведа Л. Сараскиной по поводу критики Достоевским мифа об Америке читаем: «Бегство в Америку, по Достоевскому, - это прежде всего либеральный миф, распространяющийся в русской среде как пожар. Достоевский высмеивает тех, кто готов пресмыкаться перед либеральным вздором, у кого закрыты глаза на истинное положение вещей». Сараскина Л.С. Испытание будущим. Ф.М. Достоевский как участник современной культуры. М., Прогресс – Традиция, 2010, с. 138.

прицепилось» много «разных промышленников», которые «искажили все, к чему ни прикоснулись»¹⁴⁵.

Отмечу, что и нелюбимый автором Порфирий Петрович – тоже человек дела, профессионал. И молится он богу по имени «закон», а не рассчитывает на христианское покаяние преступника и его прощение. Стало быть, в своем деле Порфирий Петрович как раз против того, чтобы кафтан разрывать и стоит за то, что всякий человек главным образом сам ответственен за то – в кафтане он или без него.

В связи с идеей христианского всепрощения как действительный противовес «подпольности» Достоевский выводит в романе идеальную героиню Соню Мармеладову. Ее главная особенность – страдание за других. Для прокорма семьи и смягчения последствий «слабости» своего отца она идет «на панель», становится «желтобилетницей». Сделавшись невольной поверенной греха Раскольникова, решает поддерживать его ради возвращения на христианский путь всем, в том числе и своей жизнью, решая быть рядом с ним на каторге. Достоевский намечает невозможность принятия Раскольниковым поступка Сони (страдания за других). Это противоположно его мировоззрению, частью которого является право на убийство. Ради утверждения своего поступка, своего «права», он не задумываясь отвергает отношение Сони, ради отстаивания собственной правоты бессердечно идет на все. Вот этот разговор.

«- Катерина Ивановна в чахотке, в злой; она скоро умрет, - сказал Раскольников, помолчав и не ответив на вопрос.

- Ох, нет, нет, нет! - И Соня бессознательным жестом схватила его за обе руки, как бы упрашивая, чтобы нет.

- Да ведь это ж лучше, коль умрет.

- Нет, не лучше, не лучше, совсем не лучше! - испуганно и безотчетно повторяла она.

¹⁴⁵ Достоевский Ф.М. Цит. соч., с. 116.

- А дети-то? Куда ж вы тогда возьмете их, коль не к вам?

- Ох, уж не знаю! - вскрикнула Соня почти в отчаянии и схватилась за голову. Видно было, что эта мысль уж много-много раз в ней самой мелькала, и он только вспугнул опять эту мысль.

- Ну а коль вы, еще при Катерине Ивановне, теперь, заболаете и вас в больницу свезут, ну что тогда будет? - безжалостно настаивал он.

- Ах, что вы, что вы! Этого-то уж не может быть! - и лицо Сони искривилось страшным испугом.

- Как не может быть? - продолжал Раскольников с жесткой усмешкой, - не застрахованы же вы? Тогда что с ними станется? На улицу всею гурьбой пойдут, она будет кашлять и просить, и об стену где-нибудь головой стучать, как сегодня, а дети плакать... А там упадет, в часть свезут, в больницу, умрет, а дети...

- Ох, нет!.. Бог этого не попустит! - вырвалось наконец из стесненной груди у Сони. Она слушала, с мольбой смотря на него и складывая в немой просьбе руки, точно от него всё и зависело.

Раскольников встал и начал ходить по комнате. Прошло с минуту. Соня стояла, опустив руки и голову, в страшной тоске.

- А копить нельзя? На черный день откладывать? - спросил он, вдруг останавливаясь перед ней.

- Нет, - прошептала Соня.

- Разумеется, нет! А пробовали? - прибавил он чуть не с насмешкой.

- Пробовала.

- И сорвалось! Ну, да разумеется! Что и спрашивать!

И опять он пошел по комнате. Еще прошло с минуту.

- Не каждый день получаете-то?

Соня больше прежнего смутилась, и краска ударила ей опять в лицо.

- Нет, - прошептала она с мучительным усилием.

- С Полечкой, наверно, то же самое будет, - сказал он вдруг.

- Нет! нет! Не может быть, нет! - как отчаянная, громко вскрикнула Соня, как будто ее вдруг ножом ранили. - Бог, бог такого ужаса не допустит!..

- Других допускает же.

- Нет, нет! Ее бог защитит, бог!.. - повторяла она, не помня себя.

- Да, может, и бога-то совсем нет, - с каким-то даже злорадством ответил Раскольников, засмеялся и посмотрел на нее.

Лицо Сони вдруг страшно изменилось: по нем пробежали судороги. С невыразимым укором взглянула она на него, хотела было что-то сказать, но ничего не могла выговорить и только вдруг горько-горько зарыдала, закрыв руками лицо.

- Вы говорите, у Катерины Ивановны ум мешается; у вас самой ум мешается, - проговорил он после некоторого молчания.

Прошло минут пять. Он всё ходил взад и вперед, молча и не взглядывая на нее. Наконец подошел к ней; глаза его сверкали. Он взял ее обеими руками за плечи и прямо посмотрел в ее плачущее лицо. Взгляд его был сухой, воспаленный, острый, губы его сильно вздрагивали... Вдруг он весь быстро наклонился и, припав к полу, поцеловал ее ногу. Соня в ужасе от него отшатнулась, как от сумасшедшего. И действительно, он смотрел как совсем сумасшедший.

- Что вы, что вы это? Передо мной! - пробормотала она, побледнев, и больно-больно сжало вдруг ей сердце.

Он тотчас же встал.

- Я не тебе поклонился, я всему страданию человеческому поклонился, - как-то дико произнес он и отошел к окну. - Слушай, - прибавил он, воротившись к ней через минуту, - я давеча сказал одному обидчику, что он не стоит одного твоего мизинца... и что я моей сестре сделал сегодня честь, посадив ее рядом с тобою.

- Ах, что вы это им сказали! И при ней? - испуганно вскрикнула Соня, - сидеть со мной! Честь! Да ведь я... бесчестная... я великая, великая грешница! Ах, что вы это сказали!

- Не за бесчестие и грех я сказал это про тебя, а за великое страдание твое. А что ты великая грешница, то это так, - прибавил он почти восторженно, - а пуще всего, тем ты грешница, что *понапрасну* умертвила и предала себя. Еще бы это не ужас! Еще бы не ужас, что ты живешь в этой грязи, которую так ненавидишь, и в то же время знаешь сама (только стоит глаза раскрыть), что никому ты этим не помогаешь и никого ни от чего не спасаешь! Да скажи же мне наконец, - проговорил он, почти в исступлении, - как этакой позор и такая низость в тебе рядом с другими противоположными и святыми чувствами совмещаются? Ведь справедливее, тысячу раз справедливее и разумнее было бы прямо головой в воду и разом покончить!»¹⁴⁶.

В конце романа Достоевский заставляет Раскольникову под влиянием Сони перемениться. Но делается это не через показ этого процесса, а пересказом, авторским проговором, что, без сомнения, снижает читательскую веру в такой исход дела, в целом – в достоверность финала истории. Впрочем, что касается героев-антиподов «подпольных», то надо отметить и следующее. В отличие от других (будущих) идеальных героев – князя Льва Николаевича Мышкина и Алеши Карамазова – Соня Мармеладова, возможно, наиболее слабо выполненный писателем образ. Из романа мы не узнаем ни о глубинных христианских основаниях, обусловивших ее столь жертвенное поведение, ни о процессе укоренения этих оснований в Соне, ни о том, как эта жертвенность уживается в ней с присущими каждому человеку импульсами, идущими от инстинкта самосохранения. Образ выписан как данность и потому довольно схематичен. Не будем, однако, забывать, что это первый крупный идеальный образ, создаваемый Федором Михайловичем.

¹⁴⁶ Там же, с.. 245 – 246.

Завершая анализ романа «Преступление и наказание» как очередного произведения Ф.М. Достоевского, посвященного главной его находке как мыслителя - героям его творчества «подпольным» людям, отмечу следующее. Образ «подпольного» человека Раскольникова знаменателен в галерее героев Достоевского прежде всего тем, что он попытался и успешно преодолел казалось бы непреодолимый родовой порок более ранних «подпольных» людей. В лице бедного питерского студента «подпольный» человек не только вдали от мира лелеял в себе и переживал, но соединил в поступке и явил миру свое собственное «подпольное» слово и дело. Дело это оказалось не менее ужасным, чем стоящее за ним внутреннее слово. Однако и оно, как мы увидим в дальнейшем, не исчерпало собой бездну мутной грязи и смешанной с гноем темной крови, которой был наполнен, подобно отвалившемуся от жертвы клопу, «подпольный» человек.

В череде рассматриваемых мной персонажей русской литературы 40-х – 60-х годов XIX столетия «подпольный» человек тоже был «новым» человеком. И, к несчастью, за ним теснились и готовились ступить на свет его еще более темные собратья. Правда, в отличие от героя «Записок из подполья» или сделавшего «опыт» Родиона Раскольникова, они уже не испытывали мучений из-за невозможности соединения «слова» и «дела». Они ни минуты не сомневались и были уверены, что имеют право на все. Более того: они сделали это своим чуть ли не ежедневным занятием. Этих «подпольных» мы увидим в «Идиоте», в «Бесах», в «Братьях Карамазовых». И им будут противостоять другие «новые» люди – выдуманные писателем идеальные персонажи. Что произойдет между ними? Чем кончится?

* * *

Роман «Идиот» начинается ночной сценой в вагоне поезда, среди пассажиров которого главный герой князь Лев Николаевич Мышкин. В детстве князь сильно болел, был признан «идиотом» и отправлен на лечение в Швейцарию. Там он выздоровел и вот теперь возвращается в Россию. По

тому, какие персонажи окружают князя на родине с первых шагов и как они себя ведут, ясно, что это глубоко «подпольные» люди, которые, выйдя из подвалов на поверхность земли настолько освоились, что и ее начали превращать в «подполье». Герои эти – главные спутники дальнейших приключений князя молодой купец Парфен Рогожин¹⁴⁷, только что получающий огромное наследство умершего отца и угреватый чиновник по фамилии Лебедев. Ввязавшись в разговор князя с Рогожиным, Лебедев сразу обнаруживает свой к миллионщику интерес, который незамедлительно ставит для себя превыше всякого другого:

«...А теперь миллиончик с лишком разом получить приходится, и это по крайней мере, о господи! - всплеснул руками чиновник.

- Ну чего ему, скажите, пожалуйста! - раздражительно и злобно кивнул на него опять Рогожин, - ведь я тебе ни копейки не дам, хоть ты тут вверх ногами предо мной ходи.

- И буду, и буду ходить.

- Вишь! Да ведь не дам, не дам, хошь целую неделю пляши!

- И не давай! Так мне и надо; не давай! А я буду плясать. Жену, детей малых брошу, а пред тобой буду плясать. Польсти, польсти!»¹⁴⁸

Но если «подпольные» люди взяты Достоевским из реальности, то князь Мышкин – не навеянный действительностью, а целиком вымышленный образ. Он - созданное писателем идеальное образование, продолжающее линию, намеченную образом Сони Мармеладовой. Он - искусственная конструкция, составленная из философских и моральных идей, в том числе и некоторых черт образа жизни Запада, где и происходило становление Мышкина – личности. То, что князь - пришелец, путешественник в чужой для него России, дает прекрасные возможности для показа нравов страны достаточно объективно, так как Мышкина с ней ничто не связывает и он в

¹⁴⁷ Фамилия «Рогожин» вероятно является производным от названия московского Рогожского кладбища для сектантов. Сектанты, согласно В.И. Далю, - братство, принявшее своё, отдельное ученье о вере, которое «ортодоксальными» верующими трактуется как ересь или раскол.

¹⁴⁸ Достоевский Ф.М. Цит. соч., т. 8, с.10.

ней ни от чего не зависит. (В дальнейшем независимое положение князя усилится получением неожиданного наследства). Даже его родство с генеральшей Епанчиной – лишь повод для его знакомства с семейством. Больше тема родства не будет акцентирована в романе ни разу.

Князь сразу ставится Достоевским в ситуацию тесного контакта, постоянного взаимодействия с вышедшим на свет «подпольем». В контексте романа это имеет несколько прочтений. Это и столкновение говорящего на русском языке христианского Западного мира с растекшимся по России «подпольем». Это и противодействие христианства традиционному российскому язычеству. Это, наконец, подобие нового пришествия в мир Христа и его последняя битва с Сатаной в образе названного брата Льва Никеолаевича Парфена Рогожина.

Вагонный знакомец князя Рогожин – фигура, отвечающая всем перечисленным трактовкам «подполья» при свете дня. Он купец и потому социальная фигура, тесно связанная с традициями нашей страны. В то же время, он уже и «новый» капиталистический человек, делающий деньги в современной экономической среде. Он, наконец, необразован и по своему духовному миру и образу жизни русский язычник.

Лебедев – чиновник из мелких, то есть почти социальный маргинал, каких в стране сотни тысяч. Его легко причислить как к кагорте вчерашних дворовых крепостных из числа приближенных к помещику, так и к разряду мелких управляющих, недавно вышедших из крепостного состояния, но все равно по сути своей оставшихся рабами. Оба они – плоть от плоти России и оба, включаясь в отношения с князем, представляют «подполье», столкнувшееся с неизвестно как занесенным в Россию светлым началом. Завершает эту первоначальную личностную рекогносцировку диагноз – второе имя князя – «идиот».

Контакт князя с «подпольными» людьми после знакомства в вагоне по-новому продолжается в доме генерала Епанчина, куда Лев Николаевич попадает со своим узелком. (Узелок – все его имущество, что лишний раз

подчеркивает его неприкрытость и даже обнаженность в столкновении с его друзьями-недругами). И здесь же обозначается один из главных «предметов» проводимого Достоевским исследования столкновения христианского начала с «подпольем» – личность Настасьи Филипповны Барашковой¹⁴⁹.

О красавице Настасье Филипповне известно, что она еще девочкой была взята в «опеку» богачом, «членом компаний и обществ», «сластолюбом закоренелым, который в себе не властен» Афанасием Ивановичем Тоцким, решившим вырастить красавицу «для себя». Однако не смотря на свое презируемое обществом положение, Настасья Филипповна сумела так поставить себя, что Тоцкий начал бояться этой выросшей из ребенка женщины. Какова стала эта женщина-содержанка, что сделало с ней «подполье» и в какой мере она сама теперь тоже «подпольный» человек? Вопросы эти той самостоятельностью и независимостью, которую Настасья Филипповна завоевала для себя, как мы поймем, не снимаются.

Увидев ее портрет, князь сразу влюбляется. Но во что? В образ, в пережитое страдание? Знаменательны первые, сказанные им слова:

«- Удивительное лицо! - ответил князь, - и я уверен, что судьба ее не из обыкновенных. Лицо веселое, а она ведь ужасно страдала, а? Об этом глаза говорят, вот эти две косточки, две точки под глазами в начале щек. Это гордое лицо, ужасно гордое, и вот не знаю, добра ли она? Ах, кабы добра! Всё было бы спасено!»¹⁵⁰ И, далее, на вопрос Ганечки о том, женился ли бы на ней Рогожин, князь дает провидческий ответ: «Женился бы, а чрез неделю, пожалуй, и зарезал бы ее»¹⁵¹.

Как завязка, так и последующее изложение, укрепляют читателя романа в мысли, что «подпольность» - универсальная человеческая черта, свойственная едва ли не всем людям вообще. В трактовке Достоевского, «подпольность» - это невыход человека из первобытного язычества, это глухота или неприятие христианства и Христа, это неумение или нежелание

¹⁴⁹ Имя Настасья Барашкова несет в себе смысл «агнец воскресения».

¹⁵⁰ Там же, сс. 31 – 32.

¹⁵¹ Там же.

проявлять милость к ближним и дальним, нежелание прощать, неумение постоянно бороться и изживать в себе грязное и низменное. Это, наконец, кураж и любование собственным низменным началом, психологическая игра со всевозможными проявлениями низменного и даже любование своими пороками и мерзостями. Все это в полной мере демонстрируют «подпольные» люди, от всего этого – терпеливо и сострадательно – пытается освободить их князь – христианин и «идиот».

«Подпольность» многогранна. Дикарски-«подполен» увлеченный страстью к Настасье Филипповне Парфен Рогожин. Низменно-«подполен» сладострастник Афанасий Иванович Тоцкий. Трусливо-«подполен» водящий с ним дружбу отец семейства генерал Иван Федорович Епанчин, «человек умный и ловкий», который, однако на старости лет «соблазнился сам Настасьей Филипповной». Проективно-«подполен» молодой человек Гаврила Ардалионович Иволгин (Ганечка), мечущийся между Настасьей Филипповной и младшей дочерью генерала Епанчина красавицей Аглаей. По разному «подпольна» многочисленная рогожинская бесовская «свита», постепенно, по мере развертывания роковой «сцепки» князя и Рогожина перетекающая в его окружение с тем, чтобы ежечасно, как ржавчина, разъедать его самого.

Роман может служить своего рода хрестоматией, составленной из сюжетов - проявлений «подпольности», нравственных мерзостей разного рода. Так, Тоцкий, дабы быть уверенным, что в канун затеянной им выгодной женитьбы от Настасьи Филипповны не последует какой-либо неприятности, предлагает ей плату в размере семидесяти пяти тысяч «за девичий позор, в котором она не виновата», равно как и «вознаграждение за исковерканную судьбу». Здесь же, в этом сюжете, рассчитывающий на согласие Настасьи Филипповны выйти за него замуж, Ганя, тем не менее, в качестве «страховочного» варианта, пытается заручиться положительным ответом и

от Аглаи¹⁵². Вот как он сам в связи с Настасьей Филипповной объясняет свой «расчетец»:

«- А, нравственность! Что я еще мальчишка, это я и сам знаю, - горячо перебил Ганя, - и уж хоть тем одним, что с вами такой разговор завел. Я, князь, не по расчету в этот мрак иду, - продолжал он, проговариваясь, как уязвленный в своем самолюбии молодой человек, - по расчету я бы ошибся наверно, потому и головой и характером еще не крепок. Я по страсти, по влечению иду, потому что у меня цель капитальная есть. Вы вот думаете, что я семьдесят пять тысяч получу и сейчас же карету куплю. Нет-с, я тогда третьегодний старый сюртук донашивать стану и все мои клубные знакомства брошу. У нас мало выдерживающих людей, хоть и всё ростовщики, а я хочу выдержать. Тут, главное, довести до конца - вся задача! Птицын семнадцати лет на улице спал, перочинными ножичками торговал и с копейки начал; теперь у него шестьдесят тысяч, да только после какой гимнастики! Вот эту-то я всю гимнастику и перескочу и прямо с капитала начну; чрез пятнадцать лет скажут: "Вот Иволгин, король иудейский". Вы мне говорите, что я человек не оригинальный. Заметьте себе, милый князь, что нет ничего обиднее человеку нашего времени и племени, как сказать ему, что он не оригинален, слаб характером, без особенных талантов и человек обыкновенный. Вы меня даже хорошим подлецом не удостоили счесть, и, знаете, я вас давеча съест за это хотел! Вы меня пуще Епанчина оскорбили, который меня считает (и без разговоров, без соблазнов, в простоте души, заметьте это) способным ему жену продать! Это, батюшка, меня давно уже бесит, и я денег хочу. Нажив деньги, знайте, - я буду человек в высшей степени оригинальный. Деньги тем всего подлее и ненавистнее, что они даже

¹⁵² Редкий для Достоевского случай – прямого разоблачения «подпольности» демонстрирует в силу своего характера Аглая, когда объясняет князю уловку Ганечки: «...У него душа грязная; он знает и не решается, он знает и все-таки гарантии просит. Он на веру решиться не в состоянии. Он хочет, чтоб я ему, взамен ста тысяч, на себя надежду дала. Насчет же прежнего слова, про которое он говорит в записке и которое будто бы озарило его жизнь, то он нагло лжет. Я просто раз пожалела его. Но он дерзок и бесстыден: у него тотчас же мелькнула тогда мысль о возможности надежды; я это тотчас же поняла. С тех пор он стал меня улавливать; ловит и теперь». Там же, с. 72.

таланты дают. И будут давать до скончания мира. Вы скажете, это всё по-детски или, пожалуй, поэзия, - что ж, тем мне же веселее будет, а дело все-таки сделается. Доведу и выдержу. *Rira bien qui rira le dernier!*»¹⁵³

В связи с четким формулированием Ганечкой цели, отмечу, что все сколько-нибудь масштабные «подпольные» люди, начиная с Родиона Романовича Раскольников, выбираясь из сумрака на свет, утверждают (или пытаются утвердиться) на поверхности посредством «капитальной», как они полагают, цели. Для Ганечки эта цель, диктуемая «страстью и влечением», деньги. Он (как мы увидим в дальнейшем, в этом не одинок), всерьез считает, что деньги «даже таланты дают». Ради денег он готов в буквальном смысле на все. Впрочем, «на все» по-своему готовы и прочие «подпольные»: Лебедев, как он манифестировал это Рогожину при первом же знакомстве, так же за деньги готов на все¹⁵⁴. Рогожин ради удовлетворения своей сумасшедшей страсти, как это открывается в романе, готов на убийство – сперва князя, а затем Настасьи Филипповны.

В разворачивающуюся на протяжении нескольких глав сцену первого столкновения «подпольности» и христианства Рогожин включается со своим откровенным и примитивным желанием тут же, не сходя с места, «покорить щедростью» – купить любовь Настасьи Филипповны. К нему органично в роли наставника пытается примкнуть Лебедев:

«- ...Ну!.. Настасья Филипповна! Они говорят, что вы помолвились с Ганькой! С ним-то? Да разве это можно? (Я им всем говорю!). Да я его всего за сто рублей куплю, дам ему тысячу, ну, три, чтоб отступился, так он накануне свадьбы бежит, а невесту всю мне оставит. Ведь так, Ганька, подлец! Ведь уж взял бы три тысячи! Вот они, вот! С тем и ехал, чтобы с тебя подписку такую взять; сказал: куплю - и куплю!

- Ступай вон отсюда, ты пьян! - крикнул красневший и бледневший попеременно Ганя.

¹⁵³ Хорошо смеется тот, кто смеется последним! (*франц.*) Там же, с. 105.

¹⁵⁴ При этом «подпольный» Лебедев убежден, что «рожден Талейраном и неизвестно каким образом остался лишь Лебедевым». Там же, с. 487.

За его окриком вдруг послышался внезапный взрыв нескольких голосов: вся команда Рогожина давно уже ждала первого вызова. Лебедев что-то с чрезвычайным старанием нашептывал на ухо Рогожину.

- Правда, чиновник! - ответил Рогожин, - правда, пьяная душа! Эх, куда ни шло. Настасья Филипповна! - вскричал он, глядя на нее как полоумный, робея и вдруг ободряясь до дерзости, - вот восемнадцать тысяч! - И он шаркнул перед ней на столик пачку в белой бумаге, обернутую накрест шнурками, - вот! И... и еще будет!

Он не осмелился договорить, чего ему хотелось.

- Ни-ни-ни! - зашептал ему снова Лебедев с страшно испуганным видом; можно было угадать, что он испугался громадности суммы и предлагал попробовать с несравненно меньшего.

- Нет, уж в этом ты, брат, дурак, не знаешь, куда зашёл... да, видно, и я дурак с тобой вместе! - спохватился и вздрогнул вдруг Рогожин под засверкавшим взглядом Настасьи Филипповны. - Э-эх! соврал я, тебя послушался, - прибавил он с глубоким раскаянием.

Настасья Филипповна, взглядевшись в опрокинутое лицо Рогожина, вдруг засмеялась.

- Восемнадцать тысяч, мне? Вот сейчас мужик и скажется! - прибавила она вдруг с наглою фамильярностью и привстала с дивана, как бы собираясь ехать. Ганя с замиранием сердца наблюдал всю сцену.

- Так сорок же тысяч, сорок, а не восемнадцать! - закричал Рогожин, - Ванька Птицын и Бискуп к семи часам обещались сорок тысяч представить. Сорок тысяч! Все на стол.

Сцена выходила чрезвычайно безобразная, но Настасья Филипповна продолжала смеяться и не уходила, точно и в самом деле с намерением протягивала ее. Нина Александровна и Варя тоже встали с своих мест и испуганно, молча ждали, до чего это дойдет; глаза Вари сверкали, но на Нину Александровну всё это подействовало болезненно; она дрожала, и казалось, тотчас упадет в обморок.

- А коли так - сто! Сегодня же сто тысяч представлю! Птицын, выручай, руки нагреешь!»¹⁵⁵

Достоевский как на хирургическом столе пластает перед читателем существо с именем «подполье» и постепенно мы видим его анатомию, начинаем понимать способ взаимосвязи между его органами. Вот грубая страсть, вырастающая из безудержных низменных инстинктов; вот тщеславие и инстинкт властвования, вызревающие из уверенности, что деньги – высшая и универсальная сила; вот убежденность, что все люди – рабы инстинктов, похоти и жажды власти, лишь с разной степени умелости скрывающие друг от друга свои неискоренимые базовые влечения.

Впрочем, и скрывают иногда свою низость «подпольные» всего лишь понарошку, потому как она – низость – и есть их главное отличие от прочих людей, их главная «оригинальность» (по словам Ганечки), без которой они просто были бы серой массой. Одна из фундаментальных сцен демонстрации «подпольности» - чтение клеветнической статьи из газеты о князе его «подпольными» гостями у него на веранде. По масштабу раскрытия «подпольности» сцена эта – «битва при Бородино» Достоевского.

«...- Он говорит, что этот вот кривляка, твой-то хозяин... тому господину статью поправлял, вот что давеча на твой счет прочитали.

Князь с удивлением посмотрел на Лебедева.

- Что ж ты молчишь? - даже топнула ногой Лизавета Прокофьевна.

- Что же, - пробормотал князь, продолжая рассматривать Лебедева, - я уж вижу, что он поправлял.

- Правда? - быстро обернулась Лизавета Прокофьевна к Лебедеву.

- Истинная правда, ваше превосходительство! - твердо и непоколебимо ответил Лебедев, приложив руку к сердцу.

- Точно хвалится! - чуть не привскочила она на стуле.

- Низок, низок! - забормотал Лебедев, начиная ударять себя в грудь и всё ниже и ниже наклоняя голову.

¹⁵⁵ Там же, сс. 97 – 98.

- Да что мне в том, что ты низок! Он думает, что скажет "низок", так и вывернется. И не стыдно тебе, князь, с такими людишками водиться, еще раз говорю? Никогда не прощу тебе!

- Меня простит князь! - с убеждением и умилением проговорил Лебедев.

- Единственно из благородства, - громко и звонко заговорил вдруг подскочивший Келлер, обращаясь прямо к Лизавете Прокофьевне, - единственно из благородства, сударыня, и чтобы не выдать скомпрометированного приятеля, я давеча утаил о поправках, несмотря на то что он же нас с лестницы спустить предлагал, как сами изволили слышать. Для восстановления истины признаюсь, что я действительно обратился к нему, за шесть целковых, но отнюдь не для слога, а, собственно, для узнания фактов, мне большею частью неизвестных, как к компетентному лицу. Насчет штиблетов, насчет аппетита у швейцарского профессора, насчет пятидесяти рублей вместо двухсот пятидесяти, одним словом, вся эта группировка, всё это принадлежит ему, за шесть целковых, но слог не поправляли»¹⁵⁶, - спешит присоединиться к признанию-похвальбе Лебедева Келлер.

Впрочем, Лебедев и Келлер - не самые крупные фигуры из «подпольных». Подлинный исполин «подпольности» в романе - медленно умирающий от чахотки молодой человек Ипполит Терентьев. О собственной общественной значимости и способностях его оценка такова:

«- ...хотел вас спросить, господин Терентьев, правду ли я слышал, что вы того мнения, что стоит вам только четверть часа в окошко с народом поговорить, и он тотчас же с вами во всем согласится и тотчас же за вами пойдет?

- Очень может быть, что говорил... - ответил Ипполит, как бы что-то припоминая. - Непременно говорил!»¹⁵⁷ И далее: «...Я хотел быть деятелем, я имел право... О, как я много хотел! Я ничего теперь не хочу, ничего не хочу

¹⁵⁶ Достоевский Ф.М. Цит. соч., сс. 241 – 242.

¹⁵⁷ Там же, сс. 244 – 245.

хотеть, я дал себе такое слово, чтоб уже ничего не хотеть; пусть, пусть без меня ищут истины! Да, природа насмешлива! Зачем она, - подхватил он вдруг с жаром, - зачем она создает самые лучшие существа с тем, чтобы потом насмеяться над ними? Сделала же она так, что единственное существо, которое признали на земле совершенством... сделала же она так, что, показав его людям, ему же и предназначила сказать то, из-за чего пролилось столько крови, что если б пролилась она вся разом, то люди бы захлебнулись, наверно! О, хорошо, что я умираю! Я бы тоже, пожалуй, сказал какую-нибудь ужасную ложь, природа бы так подвела!...»¹⁵⁸

«Подпольный» не может не сознавать спрятанные в действительности (реальности) великие силы, которым он не может соответствовать или противостоять со своими претензиями на истину и величие. Эта реальность (в терминологии Ипполита – «природа») беспощадно смеется над ним. И он не может ей этого простить.

Так же он не может простить и престать ненавидеть своего злейшего врага, по замыслу автора почти повторяющего на земле путь того «единственного существа, которое признали на земле совершенством» – проявляющего безграничное милосердие князя, отчетливо напоминающего нам Христа и, возможно, изображенного Достоевским как раз в момент его второго пришествия. Происходит это потому, что князь не заблуждается относительно «подпольного» ни в чем – видит его ничтожество и мерзость, но, что наиболее нестерпимо для «подпольных», прощает. Именно прощение, невозможное без адекватного понимания и возвышение прощающего над прощаемым, а, значит, и лишение «подпольных» «оригинальности», которой они вожделеют – самый тяжкий удар по их самолюбию и мечтам о господстве над миром. Этого – их низведения до ранга обыкновенных ничтожеств «подпольные» перенести не в силах. Это, вслед за Ганечкой, формулирует Ипполит:

¹⁵⁸ Там же, с. 247.

«...Вдруг Ипполит поднялся, ужасно бледный и с видом страшного, доходившего до отчаяния стыда на искаженном своем лице...

- Ну, вот этого я и боялся! - воскликнул князь. - Так и должно было быть!

Ипполит быстро обернулся к нему с самою бешеною злобой, и каждая черточка на лице его, казалось, трепетала и говорила.

- А, вы этого и боялись! "Так и должно было быть", по-вашему? Так знайте же, что если я кого-нибудь здесь ненавижу, - завопил он с хрипом, с визгом, с брызгами изо рта (я вас всех, всех ненавижу!), - но вас, вас, иезуитская, паточная душонка, идиот, миллионер-благодетель, вас более всех и всего на свете! Я вас давно понял и ненавидел, когда еще слышал о вас, я вас ненавидел всю ненавистью души... Это вы теперь всё подвели! Это вы меня довели до припадка! Вы умирающего довели до стыда, вы, вы, вы виноваты в подлом моем малодушии! Я убил бы вас, если б остался жить! Не надо мне ваших благодеяний, ни от кого не приму, слышите, ни от кого, ничего! Я в бреду был, и вы не смеете торжествовать!.. Проклинаю всех вас раз навсегда!»¹⁵⁹

Отчего «подпольные» ищут «оригинальности»? Причина – жажда отличиться «чем бог послал», хотя бы и низостью – лишь одна часть объяснения. Другая же - в их органическом стремлении не быть похожими (и непременно – не вообще не быть похожими на кого-нибудь, а именно на кого-нибудь по их сознательному взыскательному выбору), в том числе и на людей «практических», то есть имеющих положение и состояние. Конечно, русские так называемые «практические» люди вряд ли заслуживают того, чтобы на них в чем-то равняться. Но они – одна из действительных «вершин» на скудном отечественном пейзаже и потому для «подпольных» - объект соперничества.

В начале третьей части романа Достоевский дает подробное описание так называемых «практических» людей. Из длинного определения следует,

¹⁵⁹ Там же, с. 249.

что «практические» люди по-русски, это – заурядные фигуры из родовой знати или из состоятельных слоев. Что прививаемое таким людям с молодости смысловое выражение стремления к практичности - «Будешь в золоте ходить, генеральский чин носить!» собственно только этим и исчерпывается. Что вставший на «практический» путь, к примеру, русский вельможа за тридцать пять лет безупречной и столь же бесполезной службы скапливал известную сумму в ломбарде, получал генеральский чин и вожденное общественное звание человека «дельного и практического». А, между тем, сыскать «порядочного администратора» для какого-либо предприятия или хоть прислугу для железной дороги в стране было задачей невыполнимой.

Чахоточный Ипполит, уже фактом своей болезни поставленный в исключительно удобное для откровенности положение (он знает, что скоро умрет, знает, что к нему испытывают сострадание и многое за его положение прощают), в письменном пересказе одного из своих снов дает зримое представление, которое могло бы послужить образом «подпольности». Это сон о фантастической гадине. Вот он. «...Я видел один хорошенький сон (впрочем, из тех, которые мне теперь снятся сотнями). Я заснул ...и видел, что я в одной комнате (но не в моей). Комната больше и выше моей, лучше меблирована, светлая; шкаф, комод, диван и моя кровать, большая и широкая и покрытая зеленым шелковым стеганым одеялом. Но в этой комнате я заметил одно ужасное животное, какое-то чудовище. Оно было вроде скорпиона, но не скорпион, а гаже и гораздо ужаснее, и, кажется, именно тем, что таких животных в природе нет, и что оно *нарочно* у меня явилось, и что в этом самом заключается будто бы какая-то тайна. Я его очень хорошо разглядел: оно коричневое и скорлупчатое, пресмыкающийся гад длиной вершка в четыре, у головы толщиной в два пальца, к хвосту постепенно тоньше, так что самый кончик хвоста толщиной не больше десятой доли вершка. На вершок от головы из туловища выходят, под углом в сорок пять градусов, две лапы, по одной с каждой стороны, вершка по два длиной, так

что всё животное представляется, если смотреть сверху, в виде трезубца. Головы я не рассмотрел, но видел два усика, не длинные, в виде двух крепких игл, тоже коричневые. Такие же два усика на конце хвоста и на конце каждой из лап, всего, стало быть, восемь усиков. Животное бегало по комнате очень быстро, упираясь лапами и хвостом, и когда бежало, то и туловище и лапы извивались как змейки, с необыкновенною быстротой, несмотря на скорлупу, и на это было очень гадко смотреть. Я ужасно боялся, что оно меня ужалит; мне сказали, что оно ядовитое, но я больше всего мучился тем, кто его прислал в мою комнату, что хотят мне сделать и в чем тут тайна? Оно пряталось под комод, под шкаф, заползало в углы. Я сел на стул с ногами и поджал их под себя. Оно быстро перебежало наискось всю комнату и исчезло где-то около моего стула. Я в страхе осматривался, но так как я сидел поджав ноги, то и надеялся, что оно не всползет на стул. Вдруг я услышал сзади меня, почти у головы моей, какой-то трескучий шелест; я обернулся и увидел, что гад всползает по стене и уже наравне с моею головой и касается даже моих волос хвостом, который вертелся и извивался с необычайною быстротой. Я вскочил, исчезло и животное. На кровать я боялся лечь, чтобы оно не заползло под подушку. В комнату пришли моя мать и какой-то ее знакомый. Они стали ловить гадину, но были спокойнее, чем я, и даже не боялись. Но они ничего не понимали. Вдруг гад выполз опять; он полз в этот раз очень тихо и как будто с каким-то особым намерением, медленно извиваясь, что было еще отвратительнее, опять наискось комнаты, к дверям. Тут моя мать отворила дверь и кликнула Норму, нашу собаку, - огромный тернёф, черный и лохматый; умерла пять лет тому назад. Она бросилась в комнату и стала над гадиной как вкопанная. Остановился и гад, но всё еще извиваясь и пощелкивая по полу концами лап и хвоста. Животные не могут чувствовать мистического испуга, если не ошибаюсь; но в эту минуту мне показалось, что в испуге Нормы было что-то как будто очень необыкновенное, как будто тоже почти мистическое, и что она, стало быть, тоже предчувствует, как и я, что в звере заключается что-то

роковое и какая-то тайна. Она медленно отодвигалась назад перед гадом, тихо и осторожно ползшим на нее; он, кажется, хотел вдруг на нее броситься и ужалить. Но несмотря на весь испуг, Норма смотрела ужасно злобно, хоть и дрожала всеми членами. Вдруг она медленно оскалила свои страшные зубы, открыла всю свою огромную красную пасть, приноровилась, изловчилась, решилась и вдруг схватила гада зубами. Должно быть, гад сильно рванулся, чтобы выскользнуть, так что Норма еще раз поймала его, уже на лету, и два раза всю пастью вобрала его в себя, всё на лету, точно глотая. Скорлупа затрещала на ее зубах; хвостик животного и лапы, выходившие из пасти, шевелились с ужасною быстротой. Вдруг Норма жалобно взвизгнула: гадина успела-таки ужалить ей язык. С визгом и воем она раскрыла от боли рот, и я увидел, что разгрызенная гадина еще шевелилась у нее поперек рта, выпуская из своего полураздавленного туловища на ее язык множество белого сока, похожего на сок раздавленного черного таракана... Тут я проснулся, и вошел князь"»¹⁶⁰.

Сознавая, что в нем есть много грязного, от которого ему следовало бы избавиться, но, тем не менее, не желая признавать это, Ипполит в своем письменном рассказе исключает для себя возможность самоочищения. Забегая несколько вперед, отмечу, что по Достоевскому, поступая так, Ипполит, тем самым отвергает единственно христианский верный путь. Путь этот – всеобщее признание каждым собственной вины перед другими, взаимное покаяние и прощение всех всеми. В «Дневнике писателя» за 1877 год о романе «Анна Каренина» в второй главе под названием «Один из главнейших современных вопросов» о сцене прощения Карениным Вронского у постели умирающей Анны Ф.М. писал: «Вместо тупых светских понятий явилось лишь человеколюбие. Все простили и оправдали друг друга. Сословность и исключительность вдруг исчезли и стали немислимы, и эти люди из бумажки стали похожи на настоящих людей! Виноватых не

¹⁶⁰ Там же, сс. 323 – 324.

оказалось: все обвинили себя безусловно и тем тотчас же себя оправдали»¹⁶¹. У Ипполита же в статье – в насмешку над этим идеалом - написано: я «...мечтал, что все они вдруг растопырят руки, и примут меня в свои объятия, и попросят у меня в чем-то прощения, а я у них; одним словом, я кончил как бездарный дурак»¹⁶².

Чтобы не выглядеть «дураком» Ипполит избирает другой выход.

«Вот что случилось:

Подойдя вплоть ко сходу с террасы, Ипполит остановился, держа в левой руке бокал и опустив правую руку в правый боковой карман своего пальто. Келлер уверял потом, что Ипполит еще и прежде всё держал эту руку в правом кармане, еще когда говорил с князем и хватал его левою рукой за плечо и за воротник, и что эта-то правая рука в кармане, уверял Келлер, и зародила в нем будто бы первое подозрение. Как бы там ни было, но некоторое беспокойство заставило и его побежать за Ипполитом. По и он не поспел. Он видел только, как вдруг в правой руке Ипполита что-то блеснуло и как в ту же секунду маленький карманный пистолет очутился вплоть у его виска. Келлер бросился схватить его за руку, но в ту же секунду Ипполит спустил курок. Раздался резкий, сухой щелчок курка, но выстрела не последовало. Когда Келлер обхватил Ипполита, тот упал ему на руки, точно без памяти, может быть действительно воображая, что он уже убит. Пистолет был уже в руках Келлера. Ипполита подхватили, подставили стул, усадили его, и все столпились кругом, все кричали, все спрашивали. Все слышали щелчок курка и видели человека живого, даже не оцарапанного. Сам Ипполит сидел, не понимая, что происходит, и обводил всех кругом бессмысленным взглядом. Лебедев и Коля вбежали в это мгновение.

- Осечка? - спрашивали кругом.

- Может, и не заряжен? - догадывались другие.

- Заряжен! - провозгласил Келлер, осматривая пистолет, - но...

- Неужто осечка?

¹⁶¹ Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений в тридцати томах. Т. 25, с. 52.

¹⁶² Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений в тридцати томах. Т. 8, с. 325.

- Капсюля совсем не было, - возвестил Келлер.

- Трудно и рассказать последовавшую жалкую сцену. Первоначальный и всеобщий испуг быстро начал сменяться смехом; некоторые даже захохотали, находили в этом злорадное наслаждение. Ипполит рыдал как в истерике, ломал себе руки, бросался ко всем, даже к Фердыщенко, схватил его обеими руками и клялся ему, что он забыл, "забыл совсем нечаянно, а не нарочно" положить капсюль, что "капсюли эти вот все тут, в жилетном его кармане, штук десять" (он показывал всем кругом), что он не насадил раньше, боясь нечаянного выстрела в кармане, что рассчитывал всегда успеть насадить, когда понадобится, и вдруг забыл. Он бросался к князю, к Евгению Павловичу, умолял Келлера, чтоб ему отдали назад пистолет, что он сейчас всем докажет, что "его честь, честь"... что он теперь "обесчещен навеки!..".

Он упал наконец в самом деле без чувств»¹⁶³.

Роман не дает однозначного ответа на вопрос, действительно ли Ипполит забыл положить капсюль или только имитировал попытку самоубийства. Это, однако, не важно, поскольку несостоявшимся поступком Ипполит еще раз подтверждает одну из характерных черт «подпольных» вообще – их способность в чем-то мелком соединять «слово» и «дело», но в крупном – неготовность идти до конца. Естественное подтверждение этого качества обнаруживает, как помним, и Раскольников, не сумевший в убийстве до конца сделать все «как надо», то есть и дверь запереть, и деньги, а не безделушки из комода взять, и не раскаяться. Трагедия Раскольникова – та же, что и Ипполита, не сумевшего застрелиться взаправду. Это трагедия мелкого беса, страдающего, что не дорос до ранга беса крупного.

По этому поводу - недоделании до конца - переживает и Гаврила Ардалионович, о чем прямо свидетельствует автор:

«Действующее лицо нашего рассказа, Гаврила Ардалионович Иволгин ...с ног до головы, был заражен желанием оригинальности. ...Глубокое и непрерывное самоощущение своей бесталанности и в то же время

¹⁶³ Там же, сс. 348 – 349.

непреодолимое желание убедиться в том, что он человек самостоятельный, сильно поранили его сердце, даже чуть ли еще не с отроческого возраста. Это был молодой человек с завистливыми и порывистыми желаниями и, кажется, даже так и родившийся с раздраженными нервами. Порывчатость своих желаний он принимал за их силу. При своем страстном желании отличиться он готов был иногда на самый безрассудный скачок; но только что дело доходило до безрассудного скачка, герой наш всегда оказывался слишком умным, чтобы на него решиться. Это убивало его. Может быть, он даже решился бы, при случае, и на крайне низкое дело, лишь бы достигнуть чего-нибудь из мечтаемого; но, как нарочно, только что доходило до черты, он всегда оказывался слишком честным для крайне низкого дела. (На маленькое низкое дело он, впрочем, всегда готов был согласиться). С отвращением и с ненавистью смотрел он на бедность и на упадок своего семейства. Даже с матерью обращался свысока и презрительно, несмотря на то что сам очень хорошо понимал, что репутация и характер его матери составляли покамест главную опорную точку и его карьеры. Поступив к Епанчину, он немедленно сказал себе: "Коли подличать, так уж подличать до конца, лишь бы выиграть", - и - почти никогда не подличал до конца. Да и почему он вообразил, что ему непременно надо будет подличать? Аглаи он просто тогда испугался, но не бросил с нею дела, а тянул его, на всякий случай, хотя никогда не верил серьезно, что она снизойдет до него. Потом, во время своей истории с Настасьей Филипповной, он вдруг вообразил себе, что достижение *всего* в деньгах. "Подличать, так подличать", - повторял он себе тогда каждый день с самодовольствием, но и с некоторым страхом; "уж коли подличать, так уж доходить до верхушки, - ободрял он себя поминутно, - рутина в этих случаях оробеет, а мы не оробеем!" Проиграв Аглаю и раздавленный обстоятельствами, он совсем упал духом и действительно принес князю деньги, брошенные ему тогда сумасшедшею женщиной, которой принес их тоже сумасшедший человек. В этом возвращении денег он потом тысячу раз

раскаивался, хотя и непрестанно этим тщеславился. Он действительно плакал три дня, пока князь оставался тогда в Петербурге, но в эти три дня он успел и возненавидеть князя за то, что тот смотрел на него слишком уж сострадательно, тогда как факт, что он возвратил такие деньги, "не всякий решился бы сделать". Но благородное самопризнание в том, что вся тоска его есть только одно непрерывно раздавливаемое тщеславие, ужасно его мучило. Только уже долгое время спустя разглядел он и убедился, как серьезно могло бы обернуться у него дело с таким невинным и странным существом, как Аглая. Раскаяние грызло его; он бросил службу и погрузился в тоску и уныние. Он жил у Птицына на его содержании, с отцом и матерью, и презирал Птицына открыто, хотя в то же время слушался его советов и был настолько благоразумен, что всегда почти спрашивал их у него. Гаврила Ардалионович сердился, например, и на то, что Птицын не загадывает быть Ротшильдом и не ставит себе этой цели. "Коли уж ростовщик, так уж иди до конца, жми людей, чекань из них деньги, стань характером, стань королем иудейским!". Птицын был скромн и тих; он только улыбался, но раз нашел даже нужным объясниться с Ганей серьезно и исполнил это даже с некоторым достоинством. Он доказал Гане, что ничего не делает бесчестного и что напрасно тот называет его жидом; что если деньги в такой цене, то он не виноват; что он действует правдиво и честно, и, по-настоящему, он только агент по "этим" делам, и, наконец, что благодаря его аккуратности в делах он уже известен с весьма хорошей точки людям превосходнейшим, и дела его расширяются»¹⁶⁴.

Боязнь ординарности, быть «серым», таким как все – это чувство, похоже, преследует всех «подпольных». Вот и Ипполит высказывает об этом Гане, совершенно сознавая, что и сам такой же «серый», и ненавидя Ганю за то, что он этим своим качеством ему, Ипполиту, о нем самом постоянно напоминает. «Ненавижу я вас, Гаврила Ардалионович, единственно за то, - вам это, может быть, покажется удивительным, - *единственно за то*, что вы

¹⁶⁴ Там же, сс. 386 – 387.

тип и воплощение, олицетворение и верх самой наглой, самой самодовольной, самой пошлой и гадкой ординарности! Вы ординарность напыщенная, ординарность несомневающаяся и олимпийски успокоенная; вы рутина из рутин! Ни малейшей собственной идее не суждено воплотиться ни в уме, ни в сердце вашем никогда. Но вы завистливы бесконечно; вы твердо убеждены, что вы величайший гений, но сомнение все-таки посещает вас иногда в черные минуты, и вы злитесь и завидуете. О, у вас есть еще черные точки на горизонте; они пройдут, когда вы поглупеете окончательно, что недалеко; но все-таки вам предстоит длинный и разнообразный путь, не скажу веселый, и этому рад»¹⁶⁵.

«Подпольные» люди узнают друг друга по делам своим. Примечательно, что при этом оценивают они друг друга вполне объективно, называя вещи своими именами, то есть подлость – подлостью... Однако то, что хотя бы отдаленно свидетельствовало с рефлексии, у них напрочь отсутствует. Вот Ганя говорит об Ипполите своей сестре: «...Представить не можешь, до какой степени это хитрая тварь; какой он сплетник, какой у него нос, чтоб отыскать чутьем всё дурное, всё, что скандально. Ну, верь не верь, а я убежден, что он Аглаю успел в руки взять! А не взял, так возьмет. Рогожин с ним тоже в сношения вошел. Как это князь не замечает! И уж как ему теперь хочется меня подсидеть! За личного врага меня почитает, я это давно раскусил, и с чего, что ему тут, ведь умрет, - я понять не могу! Но я его надую; увидишь, что не он меня, а я его подсижу.

- Зачем же ты переманил его, когда так ненавидишь? И стоит он того, чтоб его подсиживать?

- Ты же переманить его к нам посоветовала.

- Я думала, что он будет полезен; а знаешь, что он сам теперь влюбился в Аглаю и писал к ней? Меня спрашивали... чуть ли он к Лизавете Прокофьевне не писал.

¹⁶⁵ Там же, с. 399.

- В этом смысле не опасен! - сказал Ганя, злобно засмеявшись. -- Впрочем, верно что-нибудь да не то. Что он влюблен, это очень может быть, потому что мальчишка! Но... он не станет анонимные письма старухе писать. Это такая злобная, ничтожная, самодовольная посредственность!.. Я убежден, я знаю наверно, что он меня пред нею интриганом выставил, с того и начал. Я, признаюсь, как дурак ему проговорился сначала; я думал, что он из одного мщения к князю в мои интересы войдет; он такая хитрая тварь! О, я раскусил его теперь совершенно. А про эту покражу он от своей же матери слышал, от капитанши.

Старик если и решился на это, так для капитанши. Вдруг мне, ни с того ни с сего, сообщает, что "генерал" его матери четыреста рублей обещал, и совершенно этак ни с того ни с сего, безо всяких церемоний. Тут я всё понял. И так мне в глаза и заглядывает, с наслаждением с каким-то; мамаше он, наверно, тоже сказал, единственно из удовольствия сердце ей разорвать. И чего он не умирает, скажи мне, пожалуйста? Ведь обязался чрез три недели умереть, а здесь еще потолстел! Перестает кашлять; вчера вечером сам говорил, что другой уже день кровью не кашляет.

- Выгони его.

- Я не ненавижу его, а презираю, - гордо произнес Ганя. - Ну да, да, пусть я его ненавижу, пусть! - вскричал он вдруг с необыкновенною яростью. - И я ему выскажу это в глаза, когда он даже умирать будет, на своей подушке! Если бы ты читала его исповедь, - боже, какая наивность наглости! Это поручик Пирогов, это Ноздрев в трагедии, а главное - мальчишка! О, с каким бы наслаждением я тогда его высек, именно чтоб удивить его. Теперь он всем мстит за то, что тогда не удалось...»¹⁶⁶

Может быть одно из самых любимых дел «подпольных» - выискивание черт «подпольности» у других, нормальных людей, может быть только чуть-чуть имеющих в себе черты «подпольности», и способствование их развитию в полноценных «подпольных» людей. Иными словами – низведение сколько-

¹⁶⁶ Там же, сс. 392 – 393.

нибудь оскользнувшегося в грязь человека на самое глубокое место в грязной луже, чтобы получше грязью измазать. В этом ключе – попытки Ипполита свести, «соединить» Аглаю с Настасьей Филипповной. В этом – «игра» Лебедева с генералом Иволгиным, укравшим у него бумажник, а затем, устыдившегося своего поступка и подбросившего его назад хозяину. (Вспомним, что генерал сперва кладет бумажник под стул, на котором висел сюртук, будто бумажник просто выпал из кармана, а затем, когда Лебедев сделал вид, что бумажника «не видит», засовывает его под подкладку лебедевского сюртука, предварительно ножичком прорезав карман, чего Лебедев так же «не замечает» и даже выставляет «незамеченную» полу сюртука генералу на обозрение). Знаменателен ответ Лебедева князю на этот рассказ: «...Впрочем, завтра намерен бумажник найти, а до завтра еще с ним вечерок погуляю.

- За что вы так его мучаете? - вскричал князь.

- Не мучаю, князь, не мучаю, - с жаром подхватил Лебедев, - я искренно его люблю-с и... уважаю-с; а теперь, вот верьте не верьте, он еще дороже мне стал-с; еще более стал ценить-с!

Лебедев проговорил всё это до того серьезно и искренно, что князь пришел даже в негодование.

- Любите, а так мучаете! Помилуйте, да уж тем одним, что он так на вид положил вам пропажу, под стул да в сюртук, уж этим одним он вам прямо показывает, что не хочет с вами хитрить, а простодушно у вас прощения просит. Слышите: прощения просит! Он на деликатность чувств ваших, стало быть, надеется; стало быть, верит в дружбу вашу к нему. А вы до такого унижения доводите такого... честнейшего человека!

- Честнейшего, князь, честнейшего! - подхватил Лебедев, сверкая глазами, - и именно только вы одни, благороднейший князь, в состоянии были такое справедливое слово сказать!»¹⁶⁷

¹⁶⁷ Там же, сс. 408 – 409.

В этом разговоре явно слышатся голоса христианского бога, взывающего к милости, и дьявола, поймавшего согрешившую христианскую душу и не желающего ее отпустить. Покаянию и прощению сатана противопоставляет издевку и нравственную пытку. К тому же, в его словах слышна явная радость по поводу низвержения еще одного человека в бездну «подпольности»: «вот верьте не верьте, он еще дороже мне стал-с; еще более стал ценить-с!»

Впрочем, хотя «подпольные» - сродни сатане, но все же не достигают до уровня истинных его проявлений. (Мелким бесам не суждено стать крупными). Вспомним, что они все-таки не могут «переступить» последней черты, недостаточно в своей подлости сильны, чтобы вершить зло в полной мере и до конца, страдают от «ординарности» - нехватки «оригинальности» во зле.

Еще раз обратимся к термину «подпольность». В обозначении духовной структуры человека он не только точен, но и образен. Это в самом деле характеристика тех людей, мир которых составляет грязное и низменное. Да и живут они если и не собственно в «подполье», то в подвале или на таком чердаке (как Раскольников), которому и иной житель подвала ужаснется. «Подпольные» - от недостатка солнца – люди серые в прямом и в переносном смысле, в том числе – в смысле нехватки «оригинальности». Их «подполье» - не сама преисподняя, не сам ад, но его земное преддверие, прихожая, сродни той, в которой прятался Раскольников после убийства старухи и ее сестры Лизаветы. Это и та ниша под лестницей, в которой притаился Рогожин, подстерегающий с ножом князя. Оно, наконец, сам рогожинский дом с наглухо тяжелыми шторами задернутыми окнами и его спальня, на кровати которой лежит труп Настасьи Филипповны. За ее душу, зараженную «подпольностью», боролся и проиграл битву с «подпольем» князь.

Вторично явившийся на землю князь – Христос сходит с ума от вида бесконечных битв между собой людей, болеющих «подпольностью» его

любимых чад. Сатана одерживает верх, даже не вводя в действие основных своих сил. Ему не понадобились новые талейраны и наполеоны. Довольно было того, что начали действовать, сводить воедино «слово» и «дело» заурядные, вышедшие из «подполья» люди, заражающие своим зловонным дыханием сам воздух¹⁶⁸.

* * *

Завершая первую часть большого разговора о мировоззрении Ф.М. Достоевского и его центральной фигуре «подпольном» человеке, приведу слова В. Шкловского, написанные по поводу похорон писателя: «Все концы, которых при жизни не мог свести Достоевский, были спрятаны в могилу, засыпаны цветами и глиной и прикрыты гранитным памятником. Так умер Достоевский, ничего не решив, избегая развязок и не примиряясь со стеной.

Он видел угнетенного человека, извращенные страсти, предчувствовал приближение конца старого мира и мечтал о золотом веке и сбился в мечте»¹⁶⁹.

Впрочем, удостоенные внимания автора «Записок из подполья», «Преступления и наказания» и «Идиота» сюжеты, этими произведениями не исчерпываются. Они будут развиваться и достигнут своего апогея в финальных романах – «Бесы» и «Братья Карамазовы», о которых речь впереди.

¹⁶⁸ В глубоком исследовании «Введение в философию права» В.В. Бибихин, разбирая сюжеты, похожие на представленные Достоевским, в одном месте замечает в том смысле, что в России, кажется, сам воздух разносит болезни крепостничества, бесправия, угнетения. Об этих сюжетах я буду говорить подробно в своем месте.

¹⁶⁹ Шкловский В. Цит. соч., с. 258.